

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ



МЕДЬ ЗВЕНЯЩАЯ

ПОВЕСТЬ

*Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею, то я —
медь звенящая или кимвал звучащий...*

Первое Послание к Коринфянам

1

До начала лекции оставалось пять минут. На прошлой неделе профессор пригрозил опоздавшим дополнительной контрольной работой, и потому сегодня студенты уже сидели на местах. Не шелестели конспекты, никто не переговаривался даже шепотом. За колонной, загодя спрятавшись от преподавательского взгляда, сидела девушка и взволнованно рисовала в тетради чей-то суровый профиль. Ей хотелось бежать из аудитории, но она только сильнее сжимала в руке непослушный карандаш.

Наконец раздались тяжёлые шаги на лестнице. Дубов вошёл необычно медленно, поднялся к доске и скрылся за колонной. Глухо опустились на стол книги.

— Прошу извинить меня за опоздание. Не будем отвлекаться, иначе не уложимся в план занятия...

ТИМОФЕЕВ Андрей Николаевич родился в 1985 году. До окончания школы жил в Башкирии. Учился в МФТИ. Окончил Литературный институт им. Горького (семинар М. Лобанова). Участник II Всероссийского некрасовского совещания молодых писателей (семинар А. Казинцева и С. Макаровой). Ведёт авторскую рубрику "Дневник читателя" на сайте "Росписатель". Печатался в журнале "Новый мир", в сборниках "Шесть часов вечера каждый вторник" и "Новые писатели". Победитель III Литературного форума "Золотой Витязь" в номинации "Дебют". Живёт в Москве.

Остановился, громко вздохнул. Можно было представить, как задумчиво крутит он в руках свои очки, держа их за одну дужку, а вторую поминутно поднося к губам.

Голос его сделался равномерным и звучным, как обычно. Этот голос открывал девушке новый мир, не тот грубый, с машинами, банками и вывесками на рекламных щитах, который можно было увидеть, едва выглянув на улицу, а другой, разумный и сильный, где каждая мысль, каждое чувство занимали своё место. Суровый профиль, нарисованный ею на тетрадном листе, постепенно окружали термины и логические заключения. Иногда, когда Пётр Валерьевич надолго останавливался, девушке казалось, что только она одна знает причину его странной рассеянности.

— Настя, Настя, — окликнули сади. Одногруппница Катя Строганова протягивала несколько печатных страниц. Настя взглянула на неё и неожиданно подумала, какие же у Кати тонкие руки.

— Посмотри, пожалуйста, внимательнее! Это очень важное для меня произведение, — просила Катя настойчиво. Настя взяла и торопливо оглянулась, опасаясь быть замеченной, но из-за колонны доносился тот же размеренный голос.

Настя больше не могла писать и, откинув голову назад, слушала своё взволнованное дыхание. Студенты конспектировали лениво, иногда останавливаясь и отдыхая. Кирилл Вязочкин на заднем ряду писал не в такт лекции, и было件нятно, что он не слушает, а сочиняет стихи. Марина Деникина лежала на парте, положив голову на руки. Рядом с Мариной Никита Зверев гнул сильными руками железное кольцо от связки ключей.

Настя торопливо склонилась над партой. Ей стало стыдно за свою рассеянность, и она начала быстро записывать в тетрадь каждое слово.

— Таким образом, мы имеем иерархически выстроенную систему плана выражения и плана содержания художественного текста, — подвёл итог Дубов, отодвигая стул и поднимаясь с места. — Однако венчает это величественное строение именно образ автора. Без личности автора, сконцентрированной внутри текста, на месте произведения остался бы только неорганизованный хаос...

Было слышно, как тяжёлыми шагами двигается он вдоль доски, ни на секунду не прерывая мерного течения речи.

Прозвенел звонок.

— Я прошу исключения задержаться для краткой беседы по результатам последнего контрольного сочинения, — остановил Дубов колыхнувшееся движение. Студенты медленно поднялись со своих мест и обступили профессора.

Настя выскользнула из аудитории и остановилась у лестницы. Стараясь успокоиться, она закрыла глаза. Потом спустилась на один пролёт, где на стене висели высокие зеркала в полный рост, и поправила волосы. На неё смотрела худая девушка с веснушчатым лицом. Съездившись, она отвернулась и поднялась наверх.

Студенты выходили один за другим. Настя заглянула внутрь и заметила, сколько их осталось, а потом считала проходящих мимо. Наконец все вышли. Настя ещё помедлила, будто ожидая, что её позовут, а затем сделала несколько осторожных шагов. Пётр Валерьевич сидел за столом, перебирая бумаги. Заметив девушку, он снял очки, продолжая держать их за дужку.

— Входите, Анастасия, я уже было думал, что вы ушли, — выговорил он устало.

Настя неуверенно приблизилась. Ей казалось, будто предметы вокруг вертятся, переворачиваясь с ног на голову, как на карусели. Пётр Валерьевич вздохнул, отложил очки и несколько раз провёл руками по лицу, словно хотел умыться.

— Анастасия, — повторил он её имя. — Я хотел поговорить с вами. Дело в том, что вчера я был очень расстроен. Говорят, бумага всё стерпит. Но я привык, чтобы слова на бумаге побуждали меня к действию, к самосовершенствованию. Ваши же слова привели меня к выводам, которые я вовсе не хотел делать в отношении своих студентов, и особенно в отношении вас.

Настя от волнения не могла разобрать смысла его слов.

— Вам не понравилось моё сочинение? — удивилась она.

— Мне не понравилось другое ваше сочинение, и вы прекрасно знаете, о чём я говорю, — рассердился Дубов.

— Вы молодая девушка, вы ещё не чувствуете, как быстро уходит определённое вам время, и потому отвлекаетесь на вещи несерьёзные, — продолжал он с силой, увлекаясь напором своей мысли. — Вчера вы предстали передо мной не тем замечательным, вдумчивым человеком, каким я видел вас раньше, а одной из легкомысленных женских особ, выдумывающих для себя эфемерные переживания вместо занятия настоящим делом.

— Конечно, молодость — прекрасное время, — продолжал он, смягчаясь. — Это пора ярких впечатлений и сильных эмоций. Но в любой ситуации вы должны отдавать отчёт в своих действиях и нести ответственность за свои поступки...

Дубов повернулся к девушке, чтобы убедиться, что она всё поняла, но вдруг заметил, что у неё влажные глаза. Профессору показалось, что стройная последовательность его мыслей нарушилась — он всегда чувствовал какое-то особенное раздражение при виде женских слёз.

Дубов подошёл к девушке и усадил на стул. Она же не могла сдержаться и расплакалась навзрыд.

— Ну что же вы так, не нужно, — уговаривал он её, стараясь не показать своего раздражения. Потом достал из сумки маленькую бутылку минеральной воды.

— Возьмите.

Настя кивнула и послушно сделала глоток.

— Тогда скажите мне, что делать, — прошептала она.

Дубов нахмурился.

— То есть что вы имеете в виду, когда спрашиваете, что делать? — переспросил он, а потом продолжал настойчивым монотонным голосом, стараясь не останавливаться: — Работать, конечно, отбросить все эти сиюминутные эмоции и познавать мир, сосредотачиваться на его законах.

Он внимательно посмотрел на неё, и Настя вдруг удивилась тому, какие серьёзные и глубокие у него глаза. Ей стало стыдно, она задышалась. Боясь, что опять расплачется, стала торопливо собираться.

— Спасибо вам... Я всё сделаю, как вы сказали...

Она ещё некоторое время стояла, не двигаясь, будто ожидая, что он снова заговорит, но Дубов молчал.

Тогда Настя больно закусил губу и, обрывисто кивнув, заспешила к выходу.

Оставшись один, Пётр Валерьевич несколько минут стоял неподвижно. Свежий осенний воздух из открытой форточки ударил ему в лицо, и тогда Дубов почувствовал, как прежняя способность логически мыслить возвращается к нему. Из окна была видна проезжая часть Тверского бульвара и длинная берёзовая аллея. Дубов вспомнил, как сам бродил по этой аллее много лет назад, и сердце его сжалось от воспоминаний. Но эти переживания он уже контролировал, так что они не могли уязвить его. Посмотрел на часы, сердито поморщился: нужно было торопиться. Ему предстояла неприятная встреча, которую он, к сожалению, не мог отменить. Спускаясь по лестнице, Дубов нарочно замедлил шаг. Ему показалось вдруг, что он студент, идущий на экзамен, к которому совершенно не готов.

Собрание авторов литературного клуба “Калейдоскоп” в поточной аудитории на первом этаже уже началось. На двери висел плакат, сообщающий, что сегодня в клуб приглашён Евгений Андреевич Шовковский. У Дубова было дело к Шовковскому, он хотел застать того ещё до начала собрания, но опоздал. Стоя у закрытой двери, Дубов слышал громкие звуки оживлённого спора и не знал, входить ему или ждать Шовковского здесь. Наконец сдвинул дверную ручку и решительно вошёл.

В аудитории находилось человек двадцать. Все они были знакомы профессору. Шовковский расположился на месте преподавателя, откинувшись

на спинку стула. Перед ним высился Вениамин Печник, выпускник института и руководитель клуба. Он глядел на Шовковского сквозь чёрные очки, деловито поправляя огрызок карандаша за ухом.

При появлении Дубова все замерли, как в немой сцене у Гоголя. Пётр Валерьевич неловко поздоровался и, задев стулья, прошёл на последний ряд.

— Здравствуйте, Пётр Валерьевич, — громко поприветствовал профессора Шовковский. — Не знал, что вы тоже состоите в клубе... Что ж, это плюс, если в ваших рядах такие уважаемые люди, — обратился он к Печнику, — это добавляет немного весу вашим заносчивым словам.

— Вес моих слов в их смысле, — гордо ответил Печник и сел, положив ногу на ногу.

— С вашего разрешения, я продолжу, — усмехнулся Шовковский. — В конце концов, это я у вас в гостях, а не вы в моей редакции чай попиваете. Если уж меня пригласили, значит, хотели выслушать, а не спорить... Как я уже говорил, есть два измерения в литературе: актуальность и качество текста. Все эти странные рассуждения господина Печника об импульсах, экспериментах и о том, что текст нельзя критиковать, я комментировать больше не буду...

Дубов сел, осторожно достал из сумки книжку Виноградова “О языке художественной прозы”. Стараясь меньше привлекать к себе внимания, пролистал страницы. Нужно было просмотреть материалы для будущей факультативной лекции у третьекурсников и составить план занятия. Громкие голоса отвлекали его, но он старался изо всех сил вникнуть в материал.

— Теперь об актуальности. Я считал, считаю и буду считать, что настоящая литература про то, как нам жить. — продолжал Шовковский. — В смутные времена ценность настоящей литературы увеличивается вдесятеро, людям нужна книга, открыв которую они поймут, как жить дальше. Сейчас в России именно такие смутные времена — мы не знаем, зачем существует Российское государство и русский народ. Времена смутные, а книги нет, и её даже никто не пытается написать. Некоторые увлекаются литературной игрой вроде постмодернизма, некоторые указывают на классику, мол, там всё сказано. Но времена меняются. То, что было актуально в девятнадцатом веке, не работает в эпоху глобализма и интернета. Вы должны понимать, что классические произведения — это иконы, на которые сейчас можно только почтительно взирать. К нам, современным писателям, они не имеют никакого отношения...

Шовковский остановился и оглядел студентов. Стало тихо. Было слышно, как на задней парте Дубов перелистывает страницы.

Встала Катя Строганова.

— Вы говорите, качественный текст — некачественный текст. Разве можно так разделять?

— К тому же качество текста основывается исключительно на вашем личном мнении, — заметил неугомонный Печник.

Шовковский усмехнулся и несколько раз качнулся на стуле.

— Будет у вас свой журнал — там качество будет основываться на вашем мнении, — не удержался он. — Ну, что ж, такая враждебность даже интересна... Жаль только, что я наблюдаю её в профессиональной среде, где собраны выпускники и студенты старших курсов. А чтобы не уходить в полемiku, давайте спросим другого взрослого и уважаемого человека. Тонкий стилист, замечательно чувствующий слово, он ответит вам сейчас, что главное в любом художественном произведении.

Дубов не сразу понял, почему все смотрят на него.

— Пётр Валерьевич, скажите! — опять вскочила Катя Строганова.

Дубов поднялся и удивлённо оглядел аудиторию. Ему повторили вопрос. Тогда он нахмурился, сурово взглянул на Шовковского. Кому-то из студентов показалось, что профессор болен и ему тяжело говорить.

— Главное в тексте — стремление к Богу, конечно.

Потом смешался, приложил руку ко лбу. Аудитория затихла, студенты переглядывались и многозначительно кивали в сторону профессора. Все жда-

ли от него чего-то особенного и предвкушали, как он сейчас поставит заносчивого редактора на место.

— Нет, так просто не понять, — продолжал Дубов, — тут нужно построить систему, чтобы объяснить эту мысль... Давайте рассмотрим. Есть земной мир, его категории суть богатство — бедность; почёт — неизвестность; удовольствие — страдание. Первое считается положительным качеством, второе отрицательным. Тут мы всё поняли, так ведь? Хорошо, рассуждаем дальше. Есть мир небесный. Его категории: милосердие, сострадание, аскетизм. Здесь нет отрицательных определений, видите, здесь есть только Бог, который воплощает все категории. Думаете, возможно сразу перескочить из одного мира в другой? Нет, невозможно, потому что эти миры различной, я бы даже сказал, противоположной природы. Нужна промежуточная ступень, это и есть литература.

Он закончил, никто не посмел перебить его. Слегка наклонил голову и хотел было сесть, но не успел.

— Пётр Валерьевич, это, конечно, всё красивые слова, — с досадой заговорил Шовковский, — но, на мой взгляд, студентам нужно говорить, прежде всего, о стилистической обработке, хотя бы из педагогических соображений. Поверьте, я читаю много текстов, приходится по работе, и среди них так много слабых, именно с точки зрения слова.

— Нет, это не красивые слова, — перебил его Дубов, но потом, вдруг вспомнив о чём-то, опять нахмурился и нарочито сильно закашлял. — Извините меня, Евгений Андреевич, я всегда говорю, что думаю, и это часто мешает. Стилистика важна, но если человек любит слово, он познает её естественно. А не сможет познать, внимательно прослушает мой курс и во всём разберётся. Другое дело, вдохнуть в текст настоящую красоту вечности... Но вы, наверное, понимаете меня. Ещё раз извините, — он махнул рукой и вернулся на место.

Собрание подходило к концу. Задали ещё несколько вопросов и решили разойтись. Печник вышел из аудитории первым, он чувствовал себя побеждённым и не хотел смириться с этим. Шовковского задержали студенты, желающие узнать о возможности публикаций своих произведений и правилах оформления рукописей. Шовковский объяснял подробно, благосклонно повторяя по несколько раз тем, кто записывал в блокноты. Дубов ждал его в коридоре.

Наконец Шовковский вышел.

— Вы, очевидно, ждёте меня, Пётр Валерьевич, — начал он приветливо. — И чем же я заслужил такую честь?

Дубов не стал отвечать сразу, а сделал приглашающий жест вперёд. Они вместе спустились по лестнице и оказались на улице. Стоял холодный осенний день.

— Евгений Андреевич, я посылал вам статью, вы читали её? — заговорил Дубов глухим голосом. — Если она запланирована на будущий номер журнала, то можно ли получить за неё аванс? Я не стал бы прибегать к личным связям, вы меня знаете, я люблю, чтобы всё было в установленном порядке. Но у меня семейные проблемы и мне, к сожалению, нужны деньги...

Шовковский посмотрел на него удивлённо.

— Знаете, Пётр Валерьевич, мне иногда кажется, что вы ненавидите нас самой лютой ненавистью, которая только может быть, — внезапно заговорил он. — Всех, кто связан с журналом, и не только с моим... всю нашу, так сказать, публичную братию. Мне кажется, я угадываю это в ваших глазах. Вы порой так люто смотрите. Но иногда я забываю об этом и люблю вас, как друга, и мне кажется, и вы меня так же любите...

Они остановились друг напротив друга и долго молчали. Ветер злился и развевал наспех накинутый профессором плащ, хлестал его по ногам.

— Я скажу вам честно, — продолжал Шовковский, поворачиваясь и вновь двигаясь по дороге к воротам, — я просто не знаю, что вам сказать. Что вы пишете иногда, вы сами отдаёте себе отчёт? Хороший текст, патристический даже, и вдруг — как там у вас, специально запомнил: либерал, как человек обмирщённый, есть тот, кто потерял свою веру. Что это значит,

Пётр Валерьевич? Что это за христианский фундаментализм? Это я в своём, простите, светском журнале должен такое опубликовать? Или вот, например, как-то так, по-моему: неумелая защита либерализмом наследия, в которое он никогда до конца не верил, послужила причиной, вызвавшей в мире явный нигилизм. Ну, я не знаю... — он развёл руками и покачал головой.

— Вы, Пётр Валерьевич, как последний из могижан, — продолжал он возбуждённо, — осколок уходящей эпохи, даже не советской, а какой-то... какой и в реальности-то никогда не существовало! Нет у нас такого патриотизма, нет таких людей, которые этот ультрахристианский патриотизм поддерживали бы... А если и есть, то такие люди уже на обочине исторического процесса, их как будто уже и нет вовсе...

Дубов сосредоточенно слушал, а потом резко кивнул.

— Спасибо вам за откровенность, я очень ценю это. Я всё понял.

— Не расстраивайтесь, Пётр Валерьевич, если бы это было только в моей власти, я бы обязательно напечатал вас, пусть даже с некоторыми купюрами. Но для меня превыше всего мои читатели, демос, ориентацию на который вы так яростно презираете. Я работаю для людей, чтобы удовлетворить их вкусы и требования, и считаю, что для редактора это и есть единственно правильный подход. А по поводу денег, если уж вам так нужна работа... у меня уволился один из сотрудников, и я бы мог дать вам несколько произведений на редактирование, если этим предложением не оскорблю вас...

— Я согласен, — перебил его профессор. — Единственно, моя просьба об авансе остаётся в силе.

— А, ну да, это конечно, конечно... Я распоряджусь, чтобы оставили в кассе.

Они вышли за ворота и, не глядя, пожали друг другу руки.

Когда Дубов вернулся домой, уже почти стемнело. Он жил в каменном московском дворе, огороженном домами с четырёх сторон, куда можно было попасть только через арку. Посреди двора стояло одно живое дерево. Дубов приблизился к своему подъезду, но внутрь не вошёл, а присел на скамейку. Вокруг было пусто, казалось, никого нет в целом мире, а огни в окнах оставлены хозяевами по забывчивости перед уходом.

“Что такое происходит сегодня? Всё через силу, на каждое действие нужно заставлять себя, — подумал он. — Разве хорошо это, что мне так не хочется идти домой. Нет, это недопустимо”, — решил профессор, но всё ещё медлил.

Наконец посмотрел на часы, поднялся. Шагая по лестнице, чувствовал тревогу. Открыв дверь, он прислушался, а потом откашлялся громко, чтобы предупредить о себе. Из комнаты донеслись быстрые хлопки тапочек по полу, и к нему навстречу вышла сухая женщина, лет сорока пяти. Это была Мария Дмитриевна, соседка по этажу.

— Здравствуйте, Пётр Валерьевич, — произнесла она мягко. — Ну, как у вас день? А у нас всё хорошо. Елена Евгеньевна поела бульона в обед, а вечером молока. Сейчас спит. Очень вас ждёт, глазами всё ищет, хочет позвать, но не может...

— Спасибо тебе, Маша, — смутился Дубов. — Я купил некоторые лекарства, остальные будут через пару дней, мне обещали.

— И ещё... У нас там люди, — понизила она голос, будто сообщая тайну.

Дубов кивнул и торопливо прошёл в свою комнату. На диване сидели мужчина и женщина и недовольно переговаривались. Входя, Дубов случайно услышал, что они здесь уже около получаса. Гости поднялись, а мужчина подал профессору руку для приветствия.

— Извините, что задержался, — холодно выговорил Дубов. — Думаю, вы смогли уже всё посмотреть...

— Как вас зовут, простите, пожалуйста, — вмешалась женщина, — Пётр Валерьевич? А меня Наталья Ивановна. Ваша соседка сказала нам, что мебель в этой комнате продаётся, я правильно понимаю?

— Да, кроме кресла-качалки и стола.

— Давайте обсудим подробнее, — предложила она настойчивым монотонным голосом. — Просто у меня была другая информация. То есть вы хотите сказать, что продаются диван, книжный шкаф и тумба. И за это вы просите три тысячи рублей? Но простите, здесь есть несколько нюансов, которые мне хотелось бы обсудить. Во-первых, мы берём мебель для дачи, и нам хотелось бы, чтобы она была выдержана в одном стиле. Где мы возьмём потом такие же стулья? Мне кажется, сюда должны прилагаться стулья.

— Да, хорошо, хорошо, — рассеянно ответил ей Дубов. — У меня есть два стула на кухне, как раз такого же цвета.

— Надеюсь, вы не будете увеличивать цену, ведь эти стулья должны идти в комплекте? — настаивала женщина.

— Не буду.

Покупатели переглянулись, они были довольны, что разговор складывается в их пользу.

— Теперь ещё один вопрос, Пётр Валерьевич, — вновь подступилась женщина. — Нас заинтересовало ваше кресло. Дело в том, что для дачи оно хорошо подходит. Мы вам предлагаем за комплект мебели вместе с креслом четыре тысячи рублей, эта цена очень рациональна, поверьте мне, я разбираюсь в мебели.

— Нет, кресло я не продаю.

Дубов прошёл вглубь комнаты. Ему хотелось, чтобы эти люди ушли.

— Пётр Валерьевич, в таком случае мы вынуждены отказаться. Мы можем подобрать мебель у других хозяев, к тому же у вас она сильно подержана. Я даже предложила бы вам четыре тысячи пятьсот рублей, если бы не видела с вашей стороны такое нежелание идти на компромисс.

— Хорошо, пусть будет четыре пятьсот с креслом, но только завтра, — разозлился Дубов. — Вам это, очевидно, доставляет удовольствие. Если с утра не принесёте деньги, можете вообще не появляться!

— Зря вы так агрессивны настроены, — неожиданно вмешался мужчина. — Мне кажется, вы выходите за рамки вежливости.

В его голосе Дубов почувствовал то удовольствие, которое испытывает обычно человек от произнесения смелых слов, которые уже ничего не решают, и разозлился ещё сильнее. Он и не заметил, как едва только он повернулся и пошёл к дверям, мужчина и женщина взяли за руки и как-то радостно и благодарно посмотрели друг на друга...

После ухода покупателей Пётр Валерьевич никак не мог прийти в себя. Закрыв дверь, он долго ещё стоял в прихожей, о чём-то напряжённо думая.

— И на чём сошлись? — поинтересовалась у него Мария Дмитриевна.

— Нужную сумму получил, — ответил он резко и быстро прошёл на кухню.

— Вы святой человек, — восхищённо повторяла Мария Дмитриевна. — Я так удивляюсь вам...

— Ну-ка, прекрати это, — оборвал её Дубов. — Ты сама-то что-нибудь ела? Я же сказал, есть картошка с рыбой. Так всё и осталось, — он недовольно вытащил из холодильника сковородку и поставил на плиту.

Дубов смотрел на неё так строго, что Мария Дмитриевна теперь только кивала и не говорила больше. Согрев ужин, профессор разложил еду на две тарелки и молча пододвинул ей одну. Они сели за стол.

— А вы, Пётр Валерьевич, побыли бы хоть с ней, вдруг проснётся, — всё-таки решила Мария Дмитриевна. — Большой ведь человек, что ж делать. Как странно — вы привели её в свой дом, ищите деньги из последних сил, продаёте мебель, а просто посидеть с ней рядом по-человечески не хотите.

— Ладно, ладно, Маш, всё, не говори ничего, — вновь перебил её он. — Я обдумаю твои слова...

Когда Мария Дмитриевна ушла, Дубов долго ещё сидел на кухне. Потом медленно встал, подошёл к двери спальни. Сквозь приоткрытую дверь были видны очертания тела на кровати. Он прислушался, дыхание было ровным, лишь иногда прерываемым коротким кашлем. Он осторожно затворил дверь и, стараясь наступать тише, прошёл в свою комнату.

Включил настольную лампу. Он очень любил свой рабочий кабинет и то, как было всё устроено в нём. Вдоль стены стоял книжный шкаф, уходящий ровными рядами полок к потолку. То здесь, то там виднелись картонные закладки с начальными буквами авторов или комментариями мелким почерком, как в библиотеке. С другой стороны располагался тяжёлый диван и его любимое кресло-качалка. У окна — письменный стол, на котором в две аккуратные стопки были сложены бумаги, исписанные и для черновиков. На углу стола — Евангелие в толстом переплёте с позолотой, подарок десятилетней давности, он читал его каждый день по одной главе перед сном. Всё было в полумраке, только яркое кольцо от лампы в центре стола, как сосредоточение мыслительной жизни комнаты.

“Ну, всё к лучшему, и думать нечего, — оборвал он сам себя, — но пусть сегодня всё будет, как обычно”.

Дубов положил себе пятнадцать минут на размышление и опустился в кресло-качалку. Во время таких минут он старался приблизительно наметить план на вечер, чтобы затем, чувствуя определённую, отдохнуть до конца отведённого времени. Но сегодня так не получилось. Сильный сухой кашель из спальни тревожил его. Он взволнованно поднялся, вышел в коридор. Кашель не утихал. Тогда он открыл нараспашку дверь и вошёл-таки внутрь.

На кровати, закутавшись в одеяло, лежала женщина. Растрёпанные волосы растеклись по подушке. Впалые глаза были закрыты, а из груди доносился протяжный свист. Дубов повернул её на бок, и больная, глубоко вздохнув, успокоилась. Дыхание облегчилось. Он расправил одеяло, накрыл женщину ровным слоем, укутав высунувшиеся кончики пальцев на ногах. Потом опять прислушался и вышел.

В тот вечер ему не работалось. Необходимо было сделать редакторскую правку одного текста, но профессор не мог заставить себя даже усилием воли. Ночь за окном чёрная, густая. Вдоль освещённой улицы часовыми строгие ели. В светлых пятнах на асфальте можно различить опадающие листья. Дубов стоял у окна и чувствовал какую-то ещё неведомую ему жизнь.

Наконец обернулся. Когда работать по тем или иным причинам не удавалось, он старался привести в систему свои мысли за день, но, оглядывая последние события, чувствовал только смутное беспокойство. Вдруг он улынулся. Да, конечно, как он мог забыть, была же ведь ещё история с третьекурсницей Настей Шишкиной, вот уж странное происшествие. Дубов подошёл к столу, пролистал бумаги в черновой пачке. Среди листов мелькнул знакомый маленький конверт — он специально положил его подальше, чтобы не возвращаться к нему мыслями. Ему было стыдно читать письмо, но сейчас он не удержался и осторожно отогнул краешек. Письмо представляло собой половинку тетрадного листа мелкого девичьего почерка.

“Милый Пётр Валерьевич, — прочитал он, — знаю, что это письмо очень рассердит Вас, но ничего не могу с собой поделать. Всё, что Вы прочтёте здесь, правда.

Вы единственный человек, которому я могу посвятить свою жизнь. И это не просто слова. Я живу и буду жить только ради любви к Вам. Я знаю, что Вы не можете смотреть на меня серьёзно и, может, даже посмеётесь надо мной. Пусть так, но главное — не отталкивайте меня. Я не осложню Вам жизнь, просто разрешите мне быть рядом. Не подумайте, будто я требую от Вас чего-то. Я буду подчиняться Вам во всём. Всё, что хотите, можете делать со мной, я всё приму и буду счастлива.

Я даже не знаю, есть ли у Вас сейчас семья и как Вы живёте. Всё это не важно... Я в последние дни как в бреду. Любое Ваше слово сейчас или через десять лет!

Ещё раз простите меня за это письмо. Не могу без Вас жить. Ваша Настя”.

Дубов отложил письмо, обхватил голову руками и нахмурился, а потом вдруг расхохотался на всю комнату.

— Прости нас грешных, Господи, — пробормотал он, стараясь сдержать неожиданный смех, но тот вырывался из горла. — Ну, будет, будет... — успокоил он сам себя. Покачал головой, ещё раз улыбнулся.

Потом быстро написал на полях листа: “Дать Насте почитать что-нибудь полезное для подавления дурных мыслей”, спрятал письмо в конверт и решительно приступил к работе.

Когда Настя вышла в тот день из института, она долго не могла понять, что сейчас делать и куда идти. Потом вспомнила, что пары на сегодня закончились, и тогда медленно зашагала к воротам. Казалось, время остановилось. Идти в сторону метро Насте не хотелось, и она свернула на Большую Бронную, чтобы погулять по узким улочкам и прийти в себя. Людей почти не было, только одинокие машины стояли вдоль тротуаров.

Настя вспомнила, как любила раньше гулять по этим улочкам и мечтать. Они очаровали её сразу, ещё когда она только поступала на первый курс и коротала здесь время, ожидая результатов последнего экзамена. Сквозь волнение она пыталась угадать своё будущее. Ей представлялось что-то романтическое: терпкий вкус вина, запах мокко, чарующие звуки музыки — где-то в маленькой писательской кофейне играет Шуберт. Писатели сидят за столом и курят трубки, набитые вишнёвым табаком, обсуждая вечные темы в искусстве. В углу она видит себя, маленькую писательницу. Ей нравится быть незаметной, но в то же время хочется, чтобы её приняли и полюбили...

Но и став студенткой, Настя по-прежнему гуляла здесь, нарочно задерживаясь после занятий. В первое время событий и впечатлений было так много, что, только оставшись одной, она могла разобраться в мыслях и чувствах. Она вспоминала лекции, то улыбаясь, то сердясь. Ей не нравились слишком логичные предметы, не нравилась современная литература, потому что она ничего в ней не понимала, зато она восхищалась старославянским языком и повторяла пропитанные древностью предложения, как чудесные заклинания. Вспоминая о своих одноклассниках, чаще расстраивалась, потому что не могла сблизиться ни с кем из них. Думая о них, повторяла про себя, что люди, мечтающие об известности и богатстве, несчастны и малодушны, что у них не хватает воли, чтобы жить в бедности и трудиться исключительно для совершенства своих творений. И горячо обещала себе, что никогда не будет знаменитой.

Когда Настя уставала гулять, она пробиралась к метро. Ей неприятна была подземная суета, и потому она старалась в воображении ускорить время, чтобы быстрее доехать до нужной станции. Ей казалось, люди в метро смотрят на неё и про себя осуждают. Вернувшись в общежитие, медленно поднималась на седьмой этаж. В коридорах пили водку и декламировали угловатые стихи без смысла и красоты. А потом проходили беспокойные ночные часы, потом сонные лекции — и она опять могла раствориться среди московских переулков, где её никто не видел и не знал, слушать Шопена в плееере, заходить в кофейни и пить по пять чашек кофе подряд...

Первый раз Настя увидела Дубова на втором курсе. Историческая грамматика стояла последней парой, и девушка, отвыкшая от учёбы за летние каникулы, уже мечтала, что будет делать потом. Однокурсницы нетерпеливо ждали появления молодого преподавателя, только окончившего институт, и наперебой спорили, кому из них удастся влюбить его в себя. Но молодой преподаватель достался другому курсу, а вместо него в аудиторию вошёл Дубов. Сначала он показался Насте старым и некрасивым.

Вместе с другими девушками она смеялась над его подчёркнуто-уважительным обращением на “вы”, над тщательностью, с которой он пронумеровывал пункты лекций, и тем, как настойчиво проверял соответствие нумерации в конспектах студентов. “Это странный человек, у которого есть два мнения: его и неправильное”, — записала Настя в дневнике после одного из занятий.

Она помнила, когда произошло для неё первое открытие Петра Валерьевича. В начале зимы в аудитории было влажно и тепло, студенты сидели сонные, а размеренный голос профессора только убаюкивал. Вдруг что-то произошло, голос профессора изменился: “И вот явился не воин, не царь, а филолог. Запомните это, Христос был первый филолог. Сначала было Слово, вот, как начинается мир, и вы должны знать это и быть достойными сво-

ей профессии...” Настя удивлённо глядела на него, и Дубов вдруг показался ей не стариком, а каким-то древним пророком. Под этим сильным впечатлением она провела весь вечер. Она не запомнила логики профессора, но слова “Христос первый филолог” потрясли её неискушённое сознание.

С того дня Пётр Валерьевич предстал перед ней совсем другим человеком. Постепенно её стали восхищать и логичность профессора, и та сила, с которой он приводил в порядок всё, о чём говорил. В его присутствии она начинала смущаться и путаться в словах. Сам Дубов вёл себя с ней серьёзно и уважительно, а на занятиях спрашивал, только когда уже никто не мог ответить. После лекции они могли ещё долго стоять в коридоре у аудитории, рассуждая о монологическом и диалогическом началах в романе или о том, что преподавание литературы в школе должно вестись с нравственной точки зрения.

Настя пыталась представить, что будет, если она признается профессору в своих чувствах. Больше всего боялась, что он засмеётся или нахмурится и молча уйдёт. Вернее, нет, больше всего она боялась взрослого и пошлого, хотя и убеждала себя, что Пётр Валерьевич на такое не способен.

За неделю до летних экзаменов Настя случайно проходила мимо кафедры русского языка и услышала, что Дубов женат. Об этом громко разговаривали две пожилые преподавательницы. Был тяжёлый дождливый день. У Насти не оказалось с собой зонта, и она промокла. В общежитии, закутавшись в одеяло, она сидела на кровати и неподвижно глядела в окно. Открыла дневник, стала писать наобум. “Наконец мои метания закончились, — начала она, — теперь я свободна от влюблённости. У меня словно гора с плеч свалилась. Теперь можно даже не надеяться, но при этом быть счастливой. Счастливой, потому что он счастлив, а еще более счастливой от того, что теперь можно говорить своим голосом, высказывать свои мысли, не рисуясь перед ним...” Она сжала лицо руками, будто боясь, что её кто-то увидит, и расплакалась.

Ей хотелось написать рассказ об одиночестве и обо всех одиноких девушках на свете. А ещё о преображении человеческой души, получившей любовь и свободу. Ей казалось, что любой человек умирает без любви, она физически чувствовала это умирание.

Настя встречала профессора ещё несколько раз на лекциях, но уже не решалась заговорить с ним. На экзамене по исторической грамматике Дубов поставил её отлично, назвав лучшей студенткой. А потом подарил маленькую книжку о жизни Андрея Рублёва и иконку с его изображением.

Она ещё не знала, что на третьем курсе Дубов будет вести у них теоретическую стилистику и с сентября всё начнётся сначала. А два дня назад они разоткровенничались с Мариной Деникиной перед сном. Разговор зашёл о Петре Валерьевиче, и Марина рассказала, что, по слухам, жена уже давно бросила его. Замирая от сладости своей тайны, Настя пыталась выпросить все подробности, но соседка ничего больше не знала.

В тот вечер Марина положила под подушку какую-то монетку, чтобы увидеть во сне своего будущего жениха. Сама она ничего не увидела, зато Насте всю ночь снился Пётр Валерьевич. Всё смешалось у неё в мыслях. Настя то ругала странную женщину, которая могла бросить самого лучшего человека на свете, то жалела Дубова. Утром она написала ему письмо, а потом вложила в тетрадь с домашним сочинением...

На следующий день после объяснения с Петром Валерьевичем Настя проснулась поздно. Ей казалось, она видела страшный сон и сейчас должна проснуться. Но нет, это был не радостное пробуждение, скорее, похмелье. Как случилось, что она написала это глупое письмо. Как могла она после летних мучений, после обещания никогда больше не думать о нём позволить себе такую слабость. В комнате было слишком светло, а Насте хотелось укрыться с головой под одеялом и больше никогда не вылезать наружу. Она медленно поднялась, задернула непослушные шторы и снова легла. В институт она не пошла, пролежав так несколько часов, то засыпая, то вновь просыпаясь. Ей казалось, все чувства умерли, и она наконец-то стала взрослой.

К вечеру Настя проснулась окончательно. Она лежала, глядя в пересечённый серыми линиями потолок, и вдруг почувствовала невероятный при-

лив сил. Ей хотелось немедленно встать, приняться за какое-нибудь дело, не теряя ни секунды. Вскочила, оделась. Мысли были свежие, движения чёткие, взвешенные. Подошла к столу. Там, как обычно, валялись книги, тетради, исписанные клочки бумаги. Настя с жаром принялась раскладывать их по стопкам. На столе нашлись и “Алые паруса” Грина, и “Золотая роза” Паустовского, она решительно убрала их на полку во второй ряд. Иногда какой-нибудь случайный листок увлекал её память, и тогда она останавливалась и подолгу читала его. А когда попадались черновики старых рассказов, Настя ожесточённо бросала их на пол. Как отвратительны были ей эти её старые тексты, полные мишуры и виньеток, эти романтические образы, кофе, Шопен... Казалось, теперь всё будет по-другому, теперь-то она возьмёт себя в руки, и начнётся у неё настоящая жизнь.

Чтобы успокоиться, она решила пойти гулять на улицу. Был ясный вечер, шёл первый снег и сразу же таял на чёрной земле. Настя даже повеселела. Ей давно не хватало хотя бы одного такого вечера, чтобы собраться с мыслями. Она шла медленно, поминутно останавливаясь, чтобы запрокинуть голову и поймать языком маленькую снежинку.

Проходя мимо цветочной лавки, Настя заглянула внутрь и долго простояла, рассматривая хрупкие бутоны. Ей казалось, цветы дышат. Тогда она стала думать о том, что цветы живут какой-то непостижимой, таинственной и очень скоротечной жизнью. Эти мысли захватили её. Купить цветов, придумала она, но сразу одёрнула себя, чтобы не сделать очередную глупость. Ромашки, просто ромашки, решила тогда Настя, ведь никому не придёт в голову сказать что-то предосудительное о ромашках. И тут внутри неё будто перевернули песочные часы, и всё старое вернулось мгновенно. Через минуту она уже покупала букет. Выбежав из лавки, вдруг испугалась своей смелости, но уже не могла повернуть обратно. Сердце стучало яростно, ночной город двигался навстречу. “Больше никакой романтической любви, — думала она про себя, — я просто хочу сделать ему приятное, подбодрить, а самое главное — извиниться за свой нелепый поступок”, — и сама верила этим мыслям.

Адрес Дубова Настя знала ещё с прошлого года. Он жил в центре, в четырёх станциях метро от общежития. Узкий переулок, один из тех, в которых она так любила гулять раньше, запутанные лабиринты домов. Долго пыталась отыскать вход во двор, наконец, прошла под аркой и оказалась внутри. Было темно, тревожно качало ветвями одинокое дерево. Вслед за ней во двор медленно въезжала машина “скорой помощи”. Настя пригляделась, чтобы рассмотреть номера квартир на двери одного из подъездов — это и был нужный.

Откуда-то слышались громкие голоса, будто кто-то спорил, а потом с шумом двинулась тяжёлая коробка лифта. Настя боялась столкнуться со случайными соседями, и потому заторопилась вверх по лестнице. Запыхавшись, она остановилась в пролёте пятого этажа. Где-то внизу опять раздался голос.

Было совсем темно. Настя не разглядела, а скорее угадала номер на заветной двери. Осторожно прикоснулась к ручке, будто это была рука Петра Валерьевича. Дверь обиженно скрипнула и поддалась, разрывая пространство тонким, как нож, лучом света. Она испугалась тому, что дверь была открыта, и сильно постучала. Никто не ответил. Вдруг ей показалось, что откуда-то доносится приглушённый стон, и она сделала шаг вперёд.

Под ногами виднелись размашистые следы, вокруг лежали сваленные в кучу вещи, как бывает при переезде. Сразу направо находилась почти пустая комната с одиноким письменным столом посередине, возле которого неровными стопками высились книги; рядом был вход на кухню, но и там не было никого.

Тогда она решила подойти к последней, дальней двери. С каждым шагом отчаянные стоны усиливались, теперь они слышались повсюду. Настя набрала воздух, будто перед прыжком, и вбежала в комнату. Но там оказался не Дубов — на кровати в углу лежала больная женщина, наклоняясь над огромным железным тазом, стоявшим на полу. Волосы её спадали вниз, закрывая лицо, а из горла, кажется, текла кровь.

Настя попятилась. Женщина отчаянно закашляла и откинулась назад на подушку. Она была ещё молода, и лицо её было красиво. Больная закрыла глаза, не желая видеть эту тёмную комнату, разбросанные вещи, таблетки, колбочки на столе. Настя бросилась назад, но в дверях столкнулась с пожилой соседкой Дубова. Быстро прошептала: “Извините” — и пробежала мимо неё вниз по лестнице, а ромашки выпали из рук, рассыпаясь по ступеням.

Мария Дмитриевна удивлённо смотрела ей вслед. Лязгнули двери лифта, это были Пётр Валерьевич и врач “скорой”, которого он ходил встречать. Они спешно прошли к больной.

Дубов стоял молча. Он напряжённо следил за движениями врача, будто проверяя, правильно ли тот проводит осмотр. Врач прощупал пульс и хотел померить давление, но никак не мог обмотать жгутом руку больной, потому что та инстинктивно дёргалась то в одну, то в другую сторону.

— Что вы там копаетесь, — не выдержал Дубов, схватил тонометр и сам укрепил жгут на руке женщины. Ей было больно, но она боялась пошевелиться, чувствуя знакомое дыхание. Врач аккуратно записал результаты на клочок бумаги. Вдруг женщина вырвалась, хрипло раскашлялась и опять прикинула к тазу, чтобы выплунуть кровавый сгусток.

— Запущенная стадия туберкулёза, — деловито заметил врач. — Требуется срочное лечение...

— У неё рак, — недовольно перебил его Дубов.

— Так зачем же вы нас вызываете? — удивился тот. — Её нужно в онкологию.

— Я знаю, что её нужно в онкологию, у нас уже есть договорённость с больницей на завтра. А сейчас я вас вызвал, чтобы вы хотя бы остановили кровь.

Он отгеснил врача и сам подсел на кровать. Врач отошёл, пожимая плечами. Мария Дмитриевна что-то вопросительно зашептала ему.

Дубов не слышал их. Он смотрел на больную, пытаясь понять, что же нужно сейчас делать: настаивать ли, чтобы “скорая” забрала её немедленно, или же дожидаться завтрашнего дня. Вдруг он понял, что невольно смотрит женщине прямо в глаза. Она отвечала ему мутным невидящим взглядом. Лицо её, искажённое болью, неожиданно показалось профессору насмешливым. Тогда он вздрогнул, вскочил, прошёлся по комнате. Эта страшная язвительная насмешка, которую он так ненавидел и боялся раньше. Силой он заставил себя вернуться к кровати.

— Я больше не нужен? — вызывающе спросил врач.

— Да, можете идти, — выговорил профессор ожесточённо. Врач торопливо попрощался, и Мария Дмитриевна пошла проводить его до двери.

— Можете вообще не появляться, — повторил Дубов про себя. Он всё ещё избегал опять встречаться глазами с женой и потому стал пристально смотреть вслед уходящему врачу.

Когда Дубов повернулся, больная уже прикрыла глаза и медленно тяжело дышала, стараясь не шевелиться, чтобы не чувствовать боли. В комнату вернулась Мария Дмитриевна. Она села на кровать с другой стороны и осторожно погладила женщину по тонкой обессиленной руке.

2

Это случилось десять лет назад. С некоторых пор Пётр почувствовал, что жизнь превратилась для него в прямую линию, в твёрдый стальной прут. Что-то большое и сильное подчинило его тело. И даже если какое-нибудь случайное впечатление увлекло его неожиданной радостью или беззаботной лёгкостью, он точно знал, что рано или поздно это впечатление развеется, и он опять останется наедине с необходимостью делать то, что теперь делал и любил.

Ему было двадцать семь. Раньше он занимался только филологией, и его не интересовали ни политика, ни общественная деятельность. Но недавно он устроился в типографию при одном православном издательстве и пережил сильное увлечение христианской литературой. Христианство привлекло Пет-

ра стройностью грандиозной системы, которая в отличие от других теорий могла объяснить мир. Все годы своей молодости после развала Союза он неосознанно жаждал этой определённости, этой почвы под ногами, и теперь его переполняло желание погрузиться в ещё неизвестную ему, но невероятно притягательную церковную жизнь.

Той весной он первый раз в жизни выдержал пост до конца и почти все эти семь недель чувствовал сухую сосредоточенность мысли, когда кажется, что голова как выметенная комната, и всё разложено чинно — ничто чужое не проникнет внутрь. А на пасху поехал в храм в центре Москвы, чтобы отстоять ночную службу целиком и вернуться домой только утром, когда откроется метро.

Ещё по дороге Пётр почувствовал особенное вдохновение. От метро шёл следом за большой компанией молодых людей и девушек, оживлённо разговаривающих о чём-то. Он вслушивался — те говорили о бездомных, о социальном патруле, бюрократических сложностях для тех, кто потерял паспорт и вынужден жить на вокзале. Он глотал эти слова, как свежий весенний воздух, ему тоже хотелось окунуться в кипучую деятельность, кому-то помогать, кого-то спасать. И уже потом, стоя в храме, ощущая ласковую теплоту чужих тел, сжимающих его со всех сторон, он думал о том, как отныне всю жизнь свою посвятить служению ближним. Так что ему даже тягостно становилось стоять сейчас просто так и ничего не делать, будто вместе с потраченным зря временем безвозвратно уходила из него капля драгоценной силы, отмеренной ему на жизнь.

Храм был светлый, просторный. Стоялось удивительно легко. Он не всегда понимал, что именно происходит сейчас, что именно читается, о чём поётся, но едва память выхватывала из службы знакомые слова, как сразу же начинал повторять их вслед за певчими шёпотом, едва шевеля губами.

Пётр ощущал веру в Бога как уверенность в существовании законов и правил, по которым каждый должен жить. И вместе с тем она была переплетена в нём с любовью ко всему русскому, так что казалось, есть тайная связь между православием в его душе и вековой святостью его Родины. И потому, глядя на молодых людей вокруг, таких же как он сам, радостных, полных сил и желания действовать, он думал о возрождении России, о том, что именно они (и он вместе с ними!) смогут стать основанием будущей святой Руси.

Когда уже подходили к причастию, Пётр заметил девушку маленького роста, которая стояла в очереди немного впереди него. Почему-то она не могла двигаться спокойно, как делали другие, а постоянно переминалась с ноги на ногу, оборачивалась, как бы приглядываясь то к одному, то к другому человеку. Одета она была неопрятно, спутанные волосы блестели, будто обмазанные маслом, но девушка, кажется, не стеснялась этого. Она напоминала Петру его младшую двоюродную сестру. Он видел, что ей нужно поправить воротник клетчатой рубашки, что она зря так легко оделась, и что узкий поток ветра от форточка попадает прямо на неё, шевеля край чёрного платка на голове. Его всегда привлекала такая незащитная неумелость, хотелось прямо сейчас протиснуться сквозь толпу, встать между девушкой и окном и отчитать её, как ребёнка.

Пока последние люди подходили к священнику целовать крест, пока длились последние молитвы и песнопения, он не чувствовал себя чужим здесь. Но когда священник скрылся в алтаре и все вокруг заговорили, стали поздравлять друг друга, оживлённо снова туда-сюда, устраиваться кто на лавках, кто прямо на полу, разворачивать скатёрки, полотенца, пакеты, чтобы поставить на них куличи, он замер на месте и принялся жалобно оглядываться. Какая-то женщина ласково потянула его за рукав: “Христос воскрес, подходите к нам”. Он подсел к небольшой компании, расположившейся у подножья массивного подевечника. Лица у всех были усталые, но светлые. Он стукнулся яйцом с кем-то из сидевших рядом и принялся медленно счищать скорлупу, всё ещё продолжал поглядывать на ту девушку. Ему не нужно было смотреть непрерывно, он чувствовал её и так, контролировал движение внутренне, иногда проверяя, верно ли чувствует, в том ли

месте храма она находится. Девушка подходила то к одним, то к другим, было видно, что её никто не знает, а она так хочет с кем-нибудь познакомиться. Но каждый раз эти новые приветливые люди не оправдывали её надежд, и она спешила к следующим. Девушка слегка прихрамывала, и потому как бы подпрыгивала при ходьбе.

Вдруг она так же быстро отделилась от очередной компании и направилась к выходу. Пётр осторожно поднялся со своего места и, ещё не веря в то, что он на самом деле это делает, двинулся за ней. У него не было осознанного плана, только удивление новизне своего неожиданного поведения.

На улице было по-утреннему холодно, но и здесь во всём чувствовались пасхальные спокойствие и размеренная традиционная деловитость. Девушка стояла на пороге. Она курила, судорожно глотая воздух, как перед погружением в воду. Пётр остановился рядом.

— Никак не могу бросить, — заметила она так решительно и в то же время обыденно, будто продолжая прерванный только что разговор. — Что уж делать, такая страсть! — и резко, отрывисто засмеялась.

— Я надеюсь, вы меня не осуждаете? — добавила дерзко.

Пётр всё ещё смотрел на неё, пытаясь понять, что же значит такое быстрое начало, без необходимого вступления и знакомства. Он мог объяснить это только недостатком общения, но и такое объяснение было неполным и, пожалуй, даже ошибочным, ведь она только что разговаривала со столькими людьми в церкви.

— Значит, осуждаете, — девушка сжала губы, но не обиделась, а опять отчего-то рассмеялась. — Что ж, совершенно тривиальная реакция...

Её нарочитая небрежность понравилась Петру. Он почувствовал в этом ту же слабость, какая виделась ему и во внешнем виде девушки, и ему стало легко с ней.

— Вы меня не так поняли... Идёте до метро? — спросил он, улыбаясь глазами.

— Сейчас, я предупрежу бабушку, и пойдём, — легко согласилась она.

А потом они сидели в маленьком пустом кафе, притаившемся где-то в глубине сонного переулочка. Когда проходили мимо, она сказала, что ей нравятся большие глиняные горшки, стоявшие на подоконнике, а он предложил выпить по чашке кофе. Девушка согласилась поспешно, как будто сама думала об этом, но едва оказались внутри, сразу же потерялась, не знала, куда вешать куртку и что заказать. Пётр бережно взял вещи из её рук и быстро сделал заказ.

— Я долго ем, у меня проблемы с зубами, — объяснила она, склоняясь над тарелкой с пирожным. — Я просто стараюсь сразу говорить людям, чтобы они знали, с кем общаются. Понимаешь, чтобы потом не было ненужных разочарований.

Пётр кивнул, думая о том, что есть на свете такие открытые люди, которые могут не скрывать своих мыслей и эмоций, как это всегда делал он.

— А почему ты всё время молчишь? — как нарочно спросила она. — Я заметила тебя в церкви, ты был такой сосредоточенный. Ничего, что я на ты?

— Ничего, — ответил он по-обычному резко.

Он уже знал, что её зовут Леной и что она живёт на юге Москвы вместе с бабушкой, но продолжать разговор об этом было бы нелепо. И потому он не понимал, о чём говорить, но и молчать уже нельзя было больше.

— Я думал об одной статье, — нахмурился он.

Лена оживилась.

— Где ты её прочитал? Или нет, дай догадаюсь, это твоя статья. Ты журналист? Расскажи, что за статья! Нет, конечно, ты прости, что я навязываюсь, если не хочешь, ты можешь и не говорить, только я не понимаю, в чём тогда смысл разговаривать двум людям...

Ему было как-то неловко так сразу излагать ей что-либо. Маленькое кафе, убаюкивающая музыка — совсем не та атмосфера для серьёзного разговора. Кроме того, он не чувствовал сейчас внутри себя яростного запала, в котором привык рассуждать о важных вещах.

— Статья о целостности характера... — проговорил он осторожно, как бы пробуя на вкус слова, проверяя, можно ли их произносить. — Понимаешь, есть много разных категорий в мире, но главная из них — целостность характера. А основным свойством целостности характера является желание погрузиться во что-то одно, так, чтобы это одно захватило тебя полностью.

Он выразил первую мысль и взглянул на неё. Лена сидела неподвижно, внимательно рассматривая его лицо, пытаясь разгадать, о чём он на самом деле думает. Тогда Пётр утвердительно кивнул и постарался припомнить следующее.

— Если у человека есть Дело, он должен заниматься только им, не отвлекаясь на посторонние вещи. Человек должен сродниться с Делом, не мыслить себя без этого Дела и Дело без себя. Именно оно должно стать итогом его жизни.

Он говорил, но слова его были безжизненными. Он произносил их, восстанавливая по памяти из чернового текста. Впрочем, постепенно голос становился всё ниже, превращаясь в хрип.

— Если у человека есть любимый человек, он должен отдаться ему без остатка. Не может быть ни одной капли его времени, сил, которые он не мог бы отдать любимому. Стать одним целым, одним существом — вот идеал человеческой любви!

Ему показалось, что в какой-то момент внимание её ослабло, она недовольно взглянула в окно, стукнула ложечкой о чашку, помешивая сахар, но на этих словах отложила ложку и опять пристально всмотрелась в его лицо.

— Часто приходится сталкиваться с рассуждениями о работе ради денег или о любви, в которой оба партнёра обладают определённым набором качеств и потому удобны друг для друга, — продолжал Пётр, сильнее и сильнее погружаясь в то особенное восторженное состояние, когда казалось, всё существо его мобилизуется только для одного слова, одной острой мысли, прорывающей тонкую плёнку бытия. — Это и есть разрушение целостности, принятие вторичных моментов за истинную причину, следствие глубокой порочности даже не отдельно взятого человека, а всей философии мира в целом!

Он знал, что в этот момент не нужно говорить так много, что его слова совершенно не подходят для первого разговора с девушкой, но именно то, что с ней, кажется, можно было не обращать внимания на такие условности, пьянило его. Он видел — ей интересны его мысли, у этой девушки такие же убеждения, как у него, и почему бы им в таком случае не поговорить об этих убеждениях!

— Ты очень необычный человек, — сказала она задумчиво. — Мы с тобой похожи, я тоже необычная. Таким людям сложно жить на свете. Я, например, больна, ты, наверно, уже заметил, я хромаю. А люди не любят больных. Люди злы, да, да, Петя, — и она рассмеялась каким-то неестественно заливыстым смехом, будто хотела что-то разрушить в окружающем мире.

— Нет, я всё уже перепробовала с ногой, это на всю жизнь, — добавила она, перебивая вопрос, который он, как ей показалось, хотел задать. — Мне тяжело, тяжело жить в этом мире, где правят деньги и всякие там желания... хм, хм... — опять так же резко рассмеялась. — Ну, ты понимаешь, о чём я... Мужчинам не нравятся некрасивые женщины. Да нет, не переубеждай меня, вот только не надо этой вежливости, я ненавижу вежливость!

Он видел в ней столько злости и странной едкости, но эта едкость не ранила его. Напротив, Петру хотелось мгновенно приняться за исправление всех её недостатков.

— Нет, ты не подумай, я христианка и всё такое, — добавила Лена, опять как бы читая его мысли. — Просто я привыкла высказывать правду в лицо. Это мой недостаток, я знаю, но вот такой я человек...

Когда Пётр шёл в то утро домой, он чувствовал то же самоотречение, что и вечером перед службой, но уже какое-то осязаемое. Ему казалось, вот он, его путь, казалось, что он нужен именно этой девушке, что он может сейчас послужить Богу и ей и что сегодняшний светлый день прошёл не напрасно.

И вот через четыре месяца они входили в маленькую квартиру на севере от Москвы, снятую Петром по дешёвке у родителей одного институтского при-

ятеля. Было душно оттого, что здесь давно не проветривали. Лена сразу же шагнула в комнату, чтобы открыть окно, а Пётр подошёл к балконной двери и стал с силой тянуть вверх неподвижную стальную ручку. Дверь не поддавалась, он огляделся, пытаясь найти какой-нибудь подходящий предмет, чтобы надавить рычагом. Кухонный стол на тонких вычурных ножках, плита с тремя чёрными кругами, холодильник в углу, открытый настежь — всё это было таким странным, что никак нельзя было поверить, что вот здесь им нужно будет теперь жить и что это будет та самая новая жизнь, которую он так ждал.

Пётр не мог ещё до конца осознать, что с ним произошло такое удивительное событие, что он женат и теперь навсегда с ним эта женщина, которая так же возилась сейчас с оконной рамой в другой комнате этой чужой квартиры. Нет, он был уверен, что любит её, что это Бог дал ему её и в этом был Его промысел, но всё равно не мог привыкнуть к такому неожиданному изменению своей простой и понятной жизни.

Воспоминания о последних четырёх месяцах были как прикосновения к мягкой обнажённой коже. Сначала они встречались почти каждый день — Пётр приезжал к ней после работы. Но постепенно их общение становилось всё более и более тягостным для него. Лена отнимала столько времени и сил, что домой он возвращался усталый и подавленный и не мог ничего больше делать. Она звонила ему на работу, а после вечерних встреч звонила домой, чтобы говорить до поздней ночи. Она почти маниакально требовала разделить с ней каждый эмоциональный порыв и обвиняла в чёрствости, если он по своему обыкновению принимался хладнокровно разбирать её проблемы монотонным голосом. Ему было тяжело с ней и казалось, что он уже не справлялся с той ношей, которую звал на себя.

Так продолжалось где-то до конца мая, пока Пётр не перестал отвечать на её звонки. Лена звонила беспрерывно и настойчиво, и ему приходилось выключать телефон. Через несколько дней звонки прекратились, но он всё равно ждал их и боялся.

Наконец через две недели она позвонила ещё раз. Пётр ответил, они немного поговорили, а на следующий вечер он поехал к ней. Было тепло, сгустились молочные сумерки. Лена выглядела притихшей и необыкновенно светлой. Они ни словом не коснулись того, почему не общались эти две недели. Лена рассказывала, как на днях ходила в церковь и исповедовалась у священника со странным греческим именем. Пётр слушал её и был доволен, что она стала такой спокойной, какой он и хотел бы её видеть. Они коротко попрощались, даже не договорившись, когда встретятся в следующий раз.

А когда Пётр шёл к метро, ему вдруг стало так легко и радостно оттого, что он всё-таки приехал к ней. И таким странным казалось теперь, что ещё несколько дней назад он думал, как бы порвать любое общение, и не чувствовал ни жалости, ни теплоты в сердце. Теперь всё было не так, и он никак не мог объяснить себе это изменение, и оттого придавал ему особенное значение. Может, это знак, данный мне Богом для разъяснения сложившейся ситуации, рассуждал он.

Весь следующий день Пётр радостно предвкушал будущий разговор с Леной. Ему так приятно было сказать ей, что он любит её, он уже представлял себе, как она улыбнётся, бросится к нему и как они потом будут целый вечер ходить счастливые.

Они встретились у метро. Лена стояла неподалёку от выхода, держась за фонарный столб. Пётр не сразу заметил её. Навстречу ему текли люди, и он продвигался сквозь них медленно, но не сводил с неё глаз.

— Прости меня, — сказал он сразу же, а потом потерялся на мгновение и опять добавил твёрдо: — Прости.

Лена испуганно взглянула в его напряжённое лицо и, будто боясь, что он сейчас произнесёт что-то страшное, принялась торопливо рассказывать, как прошёл день. Но Пётр резко выставил вперёд ладонь, а потом осторожно и мягко провёл пальцами по её руке.

— Я хотел сказать, мне многое открылось вчера. Всё встало на свои места, и я очень рад этому. Я хотел попросить у тебя прощение за то, что не разобрался в себе раньше.

Он говорил это медленно и даже слишком размеренно, словно заготовил все слова заранее. Лена глядела на него неподвижно.

— Я решил, я всё понял. Выходи за меня замуж, — закончил он и с удивлением заметил, как, будто от ужаса, исказилось её лицо...

А потом, когда Лена уже пришла в себя, когда они постояли несколько минут, обнявшись, когда уже сказаны были все слова, они шли, взявшись за руки. Те же сумерки опустились на город, но что-то уже изменилось, как если бы воздух стал гуще от случившегося.

— Знаешь, меня приглашают со следующего учебного года преподавать в Литературный институт. У Шовковского есть связи, да и меня, оказывается, там ещё помнят, — задумчиво проговорил Пётр. — Ты сможешь мне готовиться к занятиям? Ты ведь тоже филолог!

— Это важно для тебя? — тихо спросила она.

— Да, очень важно, — ответил твёрдо и почувствовал благодарность за то, что она любит его, что она готова разделить с ним его жизненный путь.

— Всё в порядке? — спросил он через минуту, замечая, что она будто замкнулась и думает о чём-то своём.

— Да, да, — мгновенно отозвалась Лена, и ему опять стало легко и радостно.

В следующие два месяца, пока ещё длились необходимые приготовления, пока они жили в предчувствии будущего события, Пётр опять ощущал внутри странное волнение. Они с Леной проводили почти всё время вдвоём, и он сильнее привязывался к ней. В то же время ему казалось, всё в мире стало крупнее, а вместе с тем крупнее и значительнее стали любые его мысли и чувства. Вечером, оставаясь один, Пётр торопливо принимался записывать то, что открылось ему сегодня. Идеи для новых литературных и философских статей переполняли его. Раньше он чувствовал подобное вдохновение только в церкви во время литургии, теперь же вся жизнь его буквально пропиталась этим вдохновением. Он объяснял это тайной любви, удивительным образом вошедшей в его жизнь.

Венчались они в той самой церкви, где и встретились, — Лена очень настаивала на этом. Петру тоже нравилась такая параллель. Он ждал венчания с жадностью. Он знал, что двое должны стать одним, и много думал об этом загадочном моменте. Ему представлялось, что на венчании случится нечто особенное и такое явное, что можно будет испытать даже телом. Он верил: от того, насколько сосредоточенным он будет в момент совершения таинства, зависит то, как сложится их семейная жизнь. Но во время самого венчания у него всё не получалось сконцентрироваться на словах службы. Ему отчего-то было страшно, что Лена, такая слабенькая и худая, может упасть в обморок, и он старался стоять чуть сзади, чтобы контролировать положение её тела. Она была ещё более беззащитна и трогательна в тонком белом платье.

И вот после венчания и короткого обеда в церковной трапезной с несколькими друзьями они оказались в этой новой и чужой для них квартире. Пётр открыл, наконец, неподдающуюся балконную дверь и с наслаждением сидел на корточках, вдыхая свежесть прохладного августовского вечера. Лена вошла на кухню.

— Давай повесим в зале занавеску перед кроватью, так будет уютнее.

— Хорошо, — согласился он, не думая. Эти заботы о быте, обустройстве квартиры, покупке вещей сами по себе не казались ему важными, но несли смысл именно как этапы построения семьи.

Они отчего-то замолчали. Несколько минут стояли так, выжидая, что другой начнёт сейчас говорить.

— Давай расставим вещи, — сказал Пётр, стараясь весело улыбнуться. — Это ведь теперь наша квартира!

Она благодарно кивнула ему, и они вместе занялись расстановкой.

Ночью его удивила её нагота, так что он долго боялся прикоснуться к маленькому болезненному телу. Он не чувствовал ни телесного желания, ни страстного томления, а только острейшую жалость, пронзительное переживание её уязвимости. Это ощущение не прошло даже потом, когда они уже засыпали, оно только немного притупилось, как бы вросло внутрь.

Он чувствовал, что и Лена как-то по-особенному беспокойна — стоило ему немного повернуться, она сразу же принималась лихорадочно хвататься за него, словно боялась, что он сейчас может уйти...

Утром Пётр проснулся рано, ещё только рассвело. Густые облака плыли по небу, и было необыкновенно спокойно на душе. Он прошёл на кухню, осторожно поставил чайник, сел за стол. Казалось, что-то необыкновенное происходило сейчас, будто тонкая плёнка реальности, отделяющая его от тайной сути бытия, вдруг стала совершенно прозрачной, а в голове прояснело. Ему хотелось мгновенно взяться за листок бумаги, но ничего не было под рукой, кроме старых газетных листов, которыми, видимо, ещё с зимы обклеивали окно. Пётр осторожно оторвал один.

“В иерархии современного общества нет Христа, — записал он мелкими неровными буквами на свободном от серых газетных строчек месте. — Максимум, на что мы способны, это более-менее регулярное исполнение обрядовой стороны. По большому счёту жизнь верующих людей сейчас разбивается на две жизни — обычную, полную праздности и суеты, и два часа на литургии в храме по воскресеньям...”

Новая мысль пришла к нему, и он громко ударил кружкой об стол. Прислушался, не доносится ли звуков из комнаты. Опять склонился над листом.

“Каждый бесцельно потраченный час ты ворующь у вечности и у своего призвания. Какое право ты имеешь так тратить этот час, ты ли его заработал? Этот час был дан тебе Богом для исполнения Его замысла, а что сделал ты? Цени эти часы, из них складывается тот отчёт, который ты дашь Творцу на Суде...”

Сильные прямые мысли захватили его, но в это время он услышал сонный голос Лены из-за стены и понял, что всё-таки разбудил её тем неосторожным движением. Ещё секунду продолжал писать, а потом торопливо поднялся и шагнул в комнату. Лена, ещё сонная, лениво потягивалась на кровати. Её тело было похоже на несколько веточек, случайно соединённых между собой.

— Что ты делал? — спросила она ревниво, сердясь, что он проснулся, а её не разбудил.

— Писал, — ответил он, отчего-то смутившись.

— О чём?

Он стал поспешно рассказывать ей смысл своей новой статьи, но она прервала его, неожиданно сильно проведя рукой сначала по волосам, а потом по лицу.

— И какое отношение это имеет к нам? — произнесла вдруг тихо.

— Как какое? — удивился он. — Мы находимся внутри этого процесса, мы должны препятствовать ему, насколько это в наших силах!

Ему показалось, что Лена на мгновение насупилась, и он попытался заговорить о чём-то, чтобы развеселить её. Но в этот момент она вдруг припала к нему и стала бешено целовать. Поддаваясь её порыву, Пётр ещё подумал, что как бы ему ни хотелось сейчас писать статью на кухне, он не может оставить её в такой момент...

Первые несколько дней они провели дома. Потом Петру нужно было выходить на работу в типографию, откуда он не хотел увольняться, пока вопрос с преподаванием в Литературном институте не решится окончательно. Лена же собиралась заняться репетиторством по английскому, но это лишь в сентябре, а теперь ей приходилось целыми днями сидеть дома, ожидая Петра с работы. Она говорила, что ей тяжело проводить день в одиночестве, но Пётр только качал головой, потому что сам-то он мечтал о свободном времени и о том, сколько мог бы сделать, если бы не нужно было зарабатывать.

Он хотел, чтобы она общалась с подругами и этим как-то развлекала себя, но Лена отвечала, что у неё нет подруг, что они все лживые и самовлюблённые. Пётр удивлялся этой её жестокости.

— А Мила? — спрашивал он о светловолосой высокой девушке с длинной русской косой, которая была на венчании.

— Мила... — задумывалась Лена. — Она так, знакомая. Понимаешь, если человек тебе друг, то он должен звонить тебе каждый день, искренне

интересоваться тобой. Связь должна быть, понимаешь? А не раз в месяц спросить “как дела”.

Его задевали эти слова, а больше всего — та злость, которая в такие моменты прорывалась у неё по отношению к другим людям. И тем более странными казались после этого порывы безумной нежности, которую она выплёскивала на него.

Вечера после работы проходили одинаково радостно и вяло. К приходу мужа Лена готовила ужин, а потом они садились рядом и разговаривали о чём-нибудь. Но иногда острое ощущение потерянного времени вдруг начинало мучить Петра, как будто кто-то внутри тихо шептал, сколько бы он мог сделать за этот вечер и не сделал. Бывало, что он прямо говорил Лене, что хочет сегодня позаниматься литературой, и садился за кухонный стол, надевая наушники, чтобы настроиться на нужный лад. Но она всё равно приходила к нему и начинала ласкаться, будто нарочно отвлекая от дела. А если и оставляла в покое на целый вечер, то потом ходила хмурая и раздражалась по любому поводу.

По выходным он теперь старался вставать раньше, пока Лена ещё спала. Нежно глядел на неё, но боялся укрыть одеялом, чтобы не потревожить сон. Потом медленно, как бы ещё сопротивляясь внутреннему желанию, шёл на кухню. А там уже вываливал на стол свои черновики, поспешно перечитывал их, систематизировал и, поймав мысль, принимался за работу.

В то время Пётр закончил большую статью и послал её в один известный литературный журнал. Шовковский, работавший там младшим редактором, передал, что статья наделала шума, потому что совершенно не вписывалась в общее направление журнала, но всё-таки одобрена к печати. Это ещё больше вдохновило Петра, и теперь он урывал любую свободную минуту, когда Лены не было рядом, чтобы писать.

— Скажи, почему я не чувствую себя красивой рядом с тобой? — жалобно спросила Лена как-то вечером.

Вопрос был совершенно нелепым, но Пётр отчего-то почувствовал себя виноватым.

— Ты для меня самая красивая, — сказал он, присаживаясь рядом и осторожно привлекая её к себе, но слабость его слов была явна даже ему самому. “Будто я вру, — подумал Пётр и поморщился от досады. — Но я ведь не вру!”

— Понимаешь, для меня наша любовь всегда была ребёнком, которого надо растить... Среди пошлости жизни, среди всех этих посредственностей, которые меня всегда окружали, это было настоящим чудом, — заговорила она порывисто. — А для тебя есть только твоя литература и церковь, — закончила жёстко, но не отвернувшись, а ещё продолжала смотреть на него, будто ожидая, что он бросится разубеждать её.

Пётр молчал. Его удивили эти слова, он пытался осмыслить их, встроить в систему своих взглядов, чтобы разобраться, может ли быть правильным то, о чём она говорит. Но в своих лихорадочных рассуждениях постоянно спотыкался о мысль, что Бог и должен быть превыше всего в мире, и потому это хорошо, что для него есть только церковь, а то, что говорит она, плохо и даже недопустимо. “Это заблуждение, пусть, но я её приведу к истине, — убеждал он себя. — В конце концов, важность церкви она когда-нибудь поймёт...”

Но пока он думал об этом, взгляд его становился всё холоднее, а лицо морщилось. Лена испуганно следила за ним в эту минуту.

— Прости, — заговорила она, прижимаясь к нему до боли. — Зверёк просто устал...

— Да, да, и ты прости меня, — рассеянно ответил Пётр. — Я после этой работы сам не свой...

Он был рад такому быстрому примирению, но долго ещё чувствовал непонятное беспокойство, мешавшее ему думать о чём-нибудь другом.

Любовь не сделала их сильнее, наоборот, ослабила, истощила их. По вечерам они всё реже режее разговаривали. Пётр чувствовал усталость после дня в типографии, но желание и невозможность писать выматывали его ещё сильнее. Лена же остро ощущала своё одиночество и особенно в те момен-

ты, когда он был дома. Но она больше не заговаривала ни о чём важном, будто боясь, что после такого разговора он окончательно станет каменным, и подолгу курила, глядя куда-то вдаль, не открывая форточки.

Как-то на выходных они целый день сидели дома. Лене нездоровилось, а Пётр боялся тревожить её. Вечером они вышли гулять. Они ни разу не ходили ещё в другую сторону от дома, не туда, где проходили железнодорожные пути и можно было сесть на электричку и доехать до Москвы, а туда, где из окна виднелась тонкая полоска леса.

Шли медленно и как-то обречённо. Миновали узкое и грязное шоссе, потом зашагали между деревенскими домиками. Улица постепенно сжималась, пока не превратилась в тропинку, уводящую мимо раскоряченного раскидистого дерева куда-то вниз. Начинаясь высокая трава, а за ней — маленькая речушка, преграждавшая путь. Они остановились. Пётр взглянул на Лену вопросительно. Она пожала плечами, и они принялись спускаться к берегу.

Справа виднелся деревянный, будто игрушечный мостик. Через траву пробрались к нему и осторожно перешли по сгнившим брёвнышкам, между которыми виднелась мутная вода, а в ней — чёрно-зелёная тина. И странно было, что здесь, в двадцати минутах езды от огромного города, притаилось такое гиблое место.

Они шли дальше, а Пётр явственно чувствовал, что они всё сильнее уязвуют в молчании, как в болоте. Прошли мимо коттеджей, вальяжно раскинувшихся на другом берегу. Опять началась асфальтовая дорога, но её преграждали то забор, то слагбаум, и им каждый раз приходилось возвращаться. Наконец выбрались на тропинку, ведущую вдоль леса, и остановились. Если оглянуться назад, можно было увидеть их дом, одиноко высившийся среди деревенских улочек и старых пятиэтажек. Вдалеке тонкой зелёной струйкой скользнула электричка.

Сильный ветер остервенело наклонял траву, отделяющую их от первых деревьев. Пётр старался встать спиной к ветру, чтобы закрыть Лену своим телом. Лена же замерла неподвижно, только зябко втягивая маленькие плечи. Становилось всё холоднее.

Вдруг она будто очнулась и наклонила голову к его груди.

— Зверёк хочет в лес, — произнесла тихо, так что едва можно было слышать её слова.

— Наверно, не надо, грязно, пора домой, — поспешно заговорил Пётр, стараясь нежно потрепать её рукой по плечу.

Она слабенько улыбнулась.

И пока шли обратно, пока закрывали руками лица от ударов внезапного проливного дождя, резко хлеставшего то с одной, то с другой стороны, на душе у Петра становилось легче от этой её улыбки. И когда вновь дрогнул под их ногами тонкий деревянный мостик, он уже думал о чём-то своём, не чувствуя прежней тревоги. Он знал, что они придут сейчас домой, обсохнут, и так приятно будет сидеть на кухне, глотая горячий чай и ощущая, что у тебя впереди ещё целый свободный вечер, за который можно столько успеть...

Через несколько дней Пётр пришёл домой и увидел, как Лена с силой бьёт кулаком свою большую ногу.

— Что ты делаешь? — выговорил с придыханием.

— Я калека, урод... Тебе меня просто жаль, — вскочила она.

Пётр почувствовал, как вскипает внутри глухое раздражение, но сказал нарочито ласково:

— Ну что же ты, маленькая моя... Ты очень красивая, — хотел было обнять её, но она вырвалась из его рук.

— Ты не слушаешь меня! Я тебе говорила, как важна для меня наша любовь, что она для меня, как ребёнок, который зреет во мне и которого надо растить, а ты даже не обратил внимания на это...

— Ты ждёшь ребёнка? — переспросил Пётр.

Она закрыла лицо руками и то ли засмеялась, то ли заплакала, сильно вздрагивая всем телом.

— Ты ничего не понял... ничего не понял... — только и повторяла она.

Пётр смотрел на неё, сердце его постепенно смягчалось. Он понял, что ошибся, когда подумал о беременности, но она и сама была как ребёнок, маленькая, нескладная, ему было до боли жаль её.

— Что я не понял? — спросил, будто отчаянно надеясь ухватить то самое недостающее звено в цепи, которую тщетно пытался восстановить.

— Ты так и не понял — мне нужен нормальный человек, а не инопланетянин. Я сама злобная и больная, и мне нужен такой же!

— Я всё равно верю в тебя, верю, что ты станешь другой, — проговорил Пётр растерянно и только потом почувствовал, что в этих словах есть что-то обидное для неё.

— Да ты во всех веришь, — ответила она, не заметив этого обидного. — Ты со всеми такой хороший, для тебя это просто. Но ко мне это никак не относится!

Пётр ощущал, как сердце будто сдавили тисками так, что казалось, никогда ему уже не разжаться. Но он не мог позволить себе проявить слабость, показать свои эмоции и потому продолжал ласково гладить её по руке.

— Всё будет хорошо... это такой период...

Но она отёрнула руку, и он продолжал гладить мягкую поверхность шерстяного покрывала на кровати. Ему хотелось выразить свои чувства — как он любит её, сколько нежности чувствует к ней сейчас, но слова не находились. Текли минуты, а он всё сильнее склонял голову к этому покрывалу, а Лена становилась всё холоднее.

— Я тебя люблю... — выговорил он глухо.

— Ну что мне сказать тебе, чтобы ты меня разлюбил, — со странным злорадством проговорила она, — что я тебе изменила? Вот, говорю!

Пётр отпрянул от неё.

— Нет, это неправда, — сказал чётко, не глядя в глаза.

— Всё равно. Значит, потом изменю...

Он попытался дотронуться до неё, но Лена резко вздрогнула.

— Уйди!

Пётр послушно поднялся и медленно прошёл на кухню. Эти странные слова об измене волновали его, он им не верил, но всё равно чувствовал внутри изматывающую ноющую боль. Монотонно принялся мыть посуду, потом отложил губку, оделся и вышел из квартиры.

На улице лил всё тот же дождь. Какое-то время Пётр ещё стоял под козырьком, не решаясь ступить в грязную тёмную кашу. Наконец шагнул вперёд и стремительно двинулся по залитым улицам. Вокруг не было ни души, только редкие огни горели в окнах домов. Где-то залаяла, но сразу же захлебнулась собака. В темноте Пётр никак не мог найти тропинку и потому наугад двинулся к раскоряченному дереву, но неожиданно поскользнулся и рухнул в мокрую липкую траву.

Мгновение он лежал, прислушиваясь. Удивительно сильно шелестели вокруг примятые стебли под ударами дождя, и Петру казалось, что им так же больно, как ему. Он знал, что эта боль не сломит его, наоборот, может, выкристаллизуется потом страшной уверенностью в своих силах, но сейчас ему не хотелось даже подниматься на ноги.

До встречи с Леной он знал своё предназначение — в мире не существовало для него ничего кроме языка. Он жадно исследовал язык, раскладывал по ячейкам каждый элемент знания, желая получить цельную структуру. А видя несовершенство чужих исследований, раздражался, отмечая разрывы логических цепочек. Но в один счастливый момент он понял, что во всём в мире царит тот же порядок и та же структура, что всё, созданное Богом, устроено так разумно, что достаточно лишь найти эти тайные закономерности, а потом следовать им, чтобы никогда в жизни не ошибаться. А если что-то случалось не так, то уж конечно, это было свидетельство не просчёта в устройстве мироздания, а его собственной ошибки, которую нужно было во что бы то ни стало найти и устранить.

И теперь он лихорадочно спрашивал себя, почему всё так случилось, с какой целью Бог дал ему это, но не находил ответа. Он знал, что всё сде-

дал правильно, что в последних событиях его жизни была та строгая обусловленность, которую он всегда считал признаком безошибочности. Они с Леной встретились, понравились друг другу, он долго не решался сделать главный шаг, и тогда Бог дал ему знак — ту неожиданную теплоту в сердце, которая побудила его сделать ей предложение. Потом они с Леной обвенчались. Пётр знал, что таинство венчания превращает двух людей в одно целое и что здесь не могло быть ошибки. Все эти действия он понимал и признавал правильными. Пожалуй, только одно он не мог объяснить — нервную эмоциональность влюблённой женщины, он не мог контролировать её своей волей, не мог управлять ею. Пётр поднялся с земли, его охватило желание немедленно бежать к ней, сказать всё, о чём он думал сейчас, и особенно об этой нервной эмоциональности, которую нужно было немедленно побороть, потому что она разрушала мир между ними.

Но когда он вернулся, квартира была пуста. На тумбе возле двери лежало нарочно оставленное на виду обручальное кольцо. Пётр схватил его, будто желая проверить, точно ли оно принадлежит Лене, и минуту теребил в руках. Тогда неожиданное раздражение поднялось в нём, он стоял, сжимая руки в кулаки, а потом бросил кольцо назад на тумбу и опять выскочил из квартиры. И пока он бежал от дома до станции электрички, ему казалось, что если он сейчас догонит Лену, то накинется на неё, схватит за плечи и будет трясти изо всех сил.

На станции было пусто, электричка недавно ушла. Пётр опять стал звонить на Ленин номер. Звонок сбросили, а затем телефон оказался недоступен. Но он звонил ещё и ещё, уже понимая, что это бессмысленно. А потом в бешенстве набросился на решётку, отгораживающую станцию от проезжей части, и стал колотить по равнодушным железным прутьям. Решётка не гнулась под ударами, только срывались вниз набухающие капли воды с перил.

Пётр вернулся обессиленный, не стал проходить в комнату, а сел прямо в коридоре среди обуви. Ему было тошно от пустоты этой квартиры. Руками он машинально нащупывал Ленины осенние сапоги и белые крошечные туфельки. Иногда к его горлу опять подступало бешеное раздражение, и тогда он ожесточённо сжимал пальцами её туфельки. Но потом, будто опомнившись, поспешно прижимал их то к губам, то к глазам.

Уже за полночь ему позвонила та самая светловолосая Мила и сообщила, что Лена у неё, но разговаривать с ним не хочет.

Они встретились ещё раз через несколько дней неподалёку от дома Лены. Пока Пётр ехал в метро, он чувствовал необыкновенное волнение, которое предшествовало каждому важному моменту в его жизни. И он готов был к этому важному моменту — за последнее время он всё обдумал, и устройство мира казалось ему теперь простым и ясным.

Пётр увидел Лену издали. Они медленно сошлись и остановились друг напротив друга.

— Наверно, если бы люди помнили всё, что они говорят, то жить на земле было бы невозможно, — тихо заметил он.

Лена осторожно кивнула. Шёл мелкий моросящий дождь, но они не стали прятаться от него, а медленно пошли вперёд. Оба ощущали сейчас особенную зыбкость, какая бывает, когда ничего ещё не сказано и пока всё хорошо, но первого слова всё равно ждёшь с тревогой.

— Я много думал последние дни... О нас и вообще о всей своей жизни, — сказал Пётр.

— Интересно было бы узнать, что же ты надумал, — ответила Лена едко, но беззлобно, так что стало понятно, что она злится уже не всерьёз.

— Да уж, я бы мог много такого надумать... — добавил Пётр ей в тон.

Она усмехнулась, как бы показывая — ну что с тобой делать, если ты такой, и обоим им стало легче.

Неподалёку от метро находился парк, где они любили проводить время раньше. И теперь, когда вошли в распахнутые настежь ажурные чёрные ворота и медленно зашагали по узким дорожкам, Лене на мгновение показалось, что сейчас не осень, а весна, и они ещё не поженились, а просто гуля-

ют здесь. Она уже не ждала никаких Петиных слов и только слышала неясную музыку внутри себя. Ей было радостно, от того, что он приехал, что всё, о чём она думала, изнуряя себя, оказалось неправдой — он здесь, и даже обида, которую она всё ещё чувствовала, не могла заглушить её счастья. Пётр же сначала заробел, но потом успокоился, и тогда ему захотелось выговориться.

— Знаешь, мне было так тяжело в тот вечер, когда ты уехала, — начал он твёрдо, и её улыбка придала ему бодрости говорить дальше. — Но потом я вдруг понял, что человек может вытерпеть гораздо больше того, что случилось с нами, и что на самом деле всё к лучшему...

Дорогу им перегородили ветки недавно срубленных деревьев, и они принялись осторожно перешагивать их. Попытались сесть на сваленный ствол, но он был мокрый, они поднялись и двинулись назад. Пётр всё говорил, но Лена почти не слушала его, лишь иногда выхватывая из его слов те, которые были важны для неё.

— Понимаешь, страдания даются нам свыше для того, чтобы вывести из спокойной страстной жизни, в которую мы погружены. Если бы моя душа была чиста, если бы я вёл праведную жизнь, то не было бы страдания, потому что не надо было бы Богу направлять меня к Себе. Конечно, бывает страдание — наказание за какой-то поступок, — оговорился он поспешно, — страдание-искушение, попускаемое Богом для укрепления веры, но общая суть страданий в том, что они являются следствием греховности нашей души. Поэтому так страшно понять простую истину: если бы я был лучше, если бы не погряз в грехе, то и страдания бы не было...

Постепенно Лена стала терять терпение. Ей казалось, можно было сказать только одно, то самое главное, что чувствовала она и хотела, чтобы чувствовал он. Они уже обошли парк по кругу и вернулись к метро и теперь опять стояли друг напротив друга. Вокруг ходили люди, гудели машины, под ногами было слякотно. На руки, на лицо, на одежду лилась холодная осенняя вода, так что Лене хотелось стряхнуть её с себя, сжаться в комок.

— Так зачем ты мне всё это рассказываешь? К чему это всё? — перебила она его.

— К тому, что я понял — мы должны восстановить прерванную связь с Богом через молитвы, исповедь, причастие, мы должны терпеть и становиться лучше, — сказал Пётр, но сразу же пожалел, потому что это прозвучало не так весомо, как он предполагал.

— Ты всё время говоришь, я понял, я хочу... А ты спросил, чего хочу я? — выговорила она тихо.

Пётр удивлённо смотрел на неё. Лена стояла у того же фонарного столба, что и в день, когда он сделал ей предложение, и так же держалась за него, обессиленная, но ещё готовая биться до конца.

— И чего хочешь ты? — спросил мягко.

— Я хочу... я хочу нормального мужика, который любил бы меня. А не маниакально одержимого проповедника... хе-хе... — рассмеялась она обычным раскатистым смехом.

У Петра внутри что-то сжалось, и опять стало неожиданно больно. А Лена, будто почувствовав, что сильно обидела его, виновато поморщилась и произнесла проникновенно, как бы цепляясь за эту обиду, как за последнюю спасительную соломинку:

— Так ты хочешь жить вместе?

— Да, мы же с тобой муж и жена, — машинально ответил Пётр.

Ему на мгновение показалось, что что-то между ними ослабло, перестало быть таким напряжённым. Взгляд её стал теплее, словно его последние слова обладали магическим действием. Но в нём ещё билась злость от её прошлых слов, и он, уже не думая, добавил:

— Мы с тобой муж и жена. Ты можешь даже не уважать меня, но главное — не нарушать клятву, которую мы дали. В любом случае нам надлежит исполнить высшую правду и жить вместе...

Она захохотала ему в лицо. Петру почудилось, будто сотни бесов разом вселились в неё.

— Когда ты начинаешь свои рассуждения и притчи, меня просто тошнит... Я же говорила, ты никогда не изменишься! И если даже начнёшь меняться, у тебя всё равно ничего не получится...

А потом Пётр вошёл в метро и ехал домой, сидя неподвижно, не облокачиваясь на спинку сиденья. Ему казалось, что он смертельно раненный солдат, который уже не может больше воевать, и ему нужно только бесцельно идти куда-то, чтобы потом упасть и умереть. В электричке стоял в тамбуре, напряжённо вглядываясь в грязное овальное стёклышко. А выйдя на своей станции, удивлённо огляделся вокруг. Столько раз они вот так же выходили из вагона и поднимались по длинному, как труба, переходу на другую сторону. Справа виднелось оконце билетной кассы, в которой они никогда не покупали билеты. Где-то в глубине большого привокзального магазина продавали дорогие, но вкусные шоколадные пирожные, которые она так любила... Но Пётр ничего уже не чувствовал и сам удивлялся своему глухому равнодушию. Он шагнул на ступеньки, и всё шире и шире распахивался перед ним маленький грязный городок, с нелепыми деревенскими улочками, прямыми линиями железной дороги и мрачным лесом вдали.

Квартира была пуста, как если бы здесь не жили несколько месяцев. Пётр прошёл на кухню, поставил чай и опустился на диван. Было холодно. Хотелось снять промокшую одежду. Но вместо этого он принялся жадно перебирать свои старые записи, достал листок чистой бумаги и набросился на него.

Он писал и писал, с каким-то особенным остервенением, желая не оставить на листе ни одного миллиметра свободного пространства. А потом встал и почувствовал своё тело каменным. И тогда он заходил по кухне большими резкими шагами, сжимая кулаки, опьянённый этим своим состоянием. Это опьянение смешивалось внутри с прорывавшейся дикой болью, и оттого иногда он принимался истошно рычать, сжимая перед лицом кулаки со страшными набухшими венами.

А потом Дубов долго пил чай короткими глотками, ощущая, как тяжёлое мутное спокойствие постепенно скрепляет разбитое тело.

3

У жены Петра Валерьевича был рак лёгких. Денег хватало только на один курс химиотерапии, однако для продления жизни врачи рекомендовали три. Кафедра русского языка просила студентов и преподавателей оказать помощь. Об этом Настя узнала из короткого объявления на стенде у расписания.

Последние три недели после того вечера, когда она побывала у профессора дома, прошли по-разному. Иногда Настя просыпалась ночью и долго не могла уснуть, оглядывая тёмную комнату, ожидая увидеть призрак страшной женщины. Затем мрачные мысли отступали, и она опять превращалась во взволнованную девочку, и тогда погружалась в мечты о профессоре, переживания о своём глупом письме, о том, видел ли он её в тот вечер у себя в квартире, о том, что ей нужно извиниться...

Объявление на стенде поразило Настю. Весь день она провела в подавленном состоянии, как бы в предчувствии чего-то. Как раз в то время родители прислали ей десять тысяч на еду на будущий месяц. Она придумала отдать их Дубову поздним вечером, когда засыпала, а утром встала в волнении. Казалось, если не исполнит это сейчас же, кто-то может помешать ей. Первой лекцией была теоретическая стилистика, но Настя решила пропустить её, чтобы сходить в банк.

И пока она стояла в очереди к банкомату, ёжась от холода, изредка согревая руки дыханием, ей всё представлялось, что происходит что-то совершенно необыкновенное. Люди в очереди спешили, поглядывали друг на друга недовольно и хмуро. Она старалась не смотреть в их лица, чтобы не подумать про них ничего плохого. А потом ехала в трамвае, чувствуя невероятную радость в душе и желание отныне все свои деньги отдавать тем, кто нуждается, не заботясь о том, как жить самой.

У двери кафедры Настя долго топталась, не решаясь войти. Пётр Валерьевич был у себя. Он сидел в отдельной маленькой комнате, в которую можно было попасть через кафедру, и ждал, пока закипит чайник. Увидев Настю, устало улыбнулся.

— Здравствуйте, Анастасия, входите. Что случилось?

Настя взволнованно теребила пальцы, не зная, с чего начать.

— Я хотела извиниться перед вами...

— Вы хотели извиниться, что не были сегодня на лекции? Да, я внимательно слушаю. Надеюсь, у вас найдутся веские причины.

Настя зажмурилась и неловко рассмеялась, закусывая губу.

— Мне хочется плакать, — вдруг сказала она.

Дубов сокрушённо покачал головой.

— Вы, Анастасия, видимо, твёрдо решили довести меня до инфаркта. Просто эмоциональная атака с вашей стороны, — он усмехнулся и осторожно провёл рукой по лбу. — То смеётесь, то плачете... и всё всерьёз. Это очень подкупает. Но прошу вас, если возможно, будьте спокойнее. Я старый человек, волнение мне полезно лишь в ограниченных дозах... Садитесь, будем пить чай.

В комнате стало уютно, запахло свежим цветочным настоем. Настя опустилась на стул и осторожно наблюдала за тем, как Пётр Валерьевич медленно разливал кипяток по чашкам, думая про себя, как много скрыто в этом сильном и мудром человеке и как ей хотелось бы узнать о нём больше.

Дубову же было очень спокойно. Он ценил людей, с которыми можно было молчать и не чувствовать неловкости.

— Расскажите мне, Настя, о чём вы сейчас пишете? — спросил он, едва заметно улыбаясь.

Настини лицо просветлело.

— Я вам говорила как-то... я пишу рассказ о монахе, о его пути в монастырь...

— О монахе? Да, помню. Видите, о каких важных вещах вам нужно сейчас думать. Это очень сложная тема! Здесь вы не обойдётесь одной описательностью и каким-нибудь внешним психологизмом. Вам нужно будет показать идеал, принять этот идеал всем своим добрым и чутким сердцем...

Настя смущённо улыбнулась. Было так просто и так необыкновенно сидеть здесь и слушать его правильные веские слова, видеть его размеренные движения, как будто ничего не случилось, и не было того вечера, той больной женщины — как будто не было у него никакого прошлого.

— Мне очень приятно беседовать с таким умным и чистым человеком, как вы, Анастасия, — закончил вдруг Дубов. — Заходите ко мне всегда, когда захотите...

А она ещё не успела обрадоваться, что он назвал её умной, как уже растерялась, что это всё и теперь нужно уходить. Машинально поднялась, сделала шаг к двери. Но потом порывисто обернулась и, уже не думая, заговорила ломким неестественно высоким голосом:

— Пётр Валерьевич, я не знаю, как это будет звучать, но если вам что-то необходимо... то есть я хочу сказать, что у вас теперь много хлопот в больнице и каких-то других... я прочитала объявление... я могла бы помочь, посидеть с вашей женой...

Дубов слушал её внимательно и даже как-то слишком спокойно.

— Вы очень искренняя девушка, Анастасия, — заговорил он. — Позвольте и мне сказать вам искренне. Видите ли, Елена Евгеньевна не тот человек, с которым вам было бы полезно общаться. Вам это не нужно.

Он остановился и взглянул на девушку, а она стояла, опустив глаза и напряжённо глядя в пол. Дубов вспомнил, как несколько дней назад она начала плакать прямо в кабинете, и почувствовал внезапное раздражение от самой возможности повторения той ситуации.

— Знаете, я тоже раньше был таким, мне всё хотелось попробовать, всем помочь, — продолжал он нарочито мягко, давя в себе настоящие чувства. — Но потом я понял, единственное, что я должен делать — то Дело, к которому призван. Остальное нужно отбросить. Если вы выбрали труд писателя, то нужно сконцентрироваться на этом.

Он на секунду остановился, раздумывая о чём-то. Настя громко шмыгнула носом.

— Ну, хорошо, хорошо, — неожиданно легко согласился Дубов, не желая больше спорить. — В конце концов, это ваше дело. Пойдёмте, здесь не очень далеко. У Елены Евгеньевны сильный ожог горла после химиотерапии, её нужно часто поить оливковым маслом. Медсёстры не занимаются этим, что ж, их можно понять. А у меня как назло лекция днём. У вас нет больше занятий на сегодня?

— Нет, — торопливо ответила она.

— Или вы так хотите мне помочь, что обманываете? В любом случае хорошо, что я не умею понимать людей по глазам, иначе я мог бы расстроиться за вас...

— Что это? — удивился он, видя, как Настя вытаскивает из кармана смятые купюры. — Ну-ка уберите быстро! Уберите, я сказал!

Настя молча положила деньги в карман и покраснела. Не глядя на неё, Дубов ополоснул стаканы в раковине, сложил в сумку несколько листов со стола, и они вышли в коридор.

Первый онкологический диспансер располагался на Бауманской. Пока они добирались от института сюда, между ними чувствовалась натянутость, и они совсем не разговаривали. Дубов стремился доехать скорее. Настя же ощущала замирание сердца, что вот сейчас она увидит его жену ещё раз, услышит её голос. Казалось, одного слова этой женщины достаточно, чтобы понять что-то важное и про Петра Валерьевича, и про неё.

В коридоре нависали серые низкие потолки, а по краям то здесь, то там стояли одинокие лавки. Им с профессором выдали по белому халату, и они поднялись по крутой лестнице на второй этаж. Настя испуганно смотрела по сторонам. Дубов шёл, не останавливаясь.

У одной из больничных дверей свернул направо, и Настя нерешительно шагнула за ним. Они оказались в маленькой палате с двумя кроватями и огромным окном. Лица человека на ближней кровати не было видно из-за сбившейся на груди простыни. А на дальней лежала женщина без волос с глубокими пятнами под глазами и восковым лицом — жена Дубова. Настя робко остановилась у двери, так непохоже было это лицо на то, которое она видела три недели назад в квартире профессора.

— Здравствуйте, Елена Евгеньевна, — приблизился Дубов к кровати. — Вот и мы. Это Настя, моя ученица, сегодня она посидит с вами.

— Плечо, плечо, зачем мне проткнули плечо, — яростно зашептала больная, пытаясь оттянуть ворот больничной пижамы.

Дубов настойчиво убрал её руку и расстегнул верхнюю пуговицу.

— Тебе это просто кажется, — мягко сказал он, поправил одеяло и посмотрел на часы над кроватью. — Ничего, сейчас дадут обезболивающее. Уже половина двенадцатого, как раз пора.

В палату, будто услышав его слова, вошла медсестра. Они с профессором обступили Елену Евгеньевну и что-то говорили друг другу. Настя по-прежнему стояла у двери, боясь пошевелиться, чтобы не привлечь к себе нервное внимание больной.

— Не смущайтесь, подойдите ближе, — наконец вспомнил про неё профессор. Настя сделала несколько неуверенных шагов.

— Эта девушка сегодня подменяет меня. Если будет что-то нужно, скажите, она справится, — указал на Настю Дубов, обращаясь к медсестре. — Понадобится, можете загрузить её работой.

Медсестра кивнула и вышла, а Дубов усадил Настю на стул рядом с кроватью.

— Вот масло, — показывал он медленно, будто объясняя непонятный материал на лекции, — вот ложечка. Нужно давать по одной каждый час. Первый раз — в двенадцать. Если будут трудности, всегда можно позвать кого-нибудь из персонала. Вы в порядке?

— Да, да, всё хорошо, я всё поняла, — слабым голосом ответила Настя. — Это ведь несложно...

Дубов улыбнулся, пытаясь подбодрить её.

Когда он ушёл, Настя напряжённо вгляделась в лицо Елены Евгеньевны, опасаясь, что она опять начнёт стонать, но та прикрыла глаза и, кажется, заснула. Теперь Настя могла разглядеть её лицо до каждой чёрточки. Через полуоткрытые губы виднелось несколько жёлтых зубов. Щёки были белыми и распухшими, а огромный отёк на шее не давал двигаться. На пижаме в нескольких местах запеклась кровь. Настя уже не могла понять, почему же она так хотела оказаться здесь — больше всего ей хотелось в этот момент, чтобы женщина проспала до возвращения Дубова.

В палате было тихо. Под потолком медленно гудел вентилятор, так что казалось, это он неведомым механизмом поддерживает жизнь пациентов. На больничных стенах застыли неподвижные солнечные зайчики. Медленно двигались стрелки на часах.

Когда время приблизилось к двенадцати, Насте стало неудобно. Не получалось думать ни о чём больше, а приходилось только напряжённо ждать. Наконец время наступило. Она осторожно открыла баночку с маслом, положила рядом ложку. Потом дотронулась до руки больной, но та не двигалась.

— Елена Евгеньевна, — произнесла она тихо.

Больная только сильнее вдохнула. Бледные круги под её глазами вблизи казались ещё страшнее.

— Уже двенадцать часов, — сказала Настя громче.

Наклонилась и стала сильно тереть простыню у её лица. Елена Евгеньевна вздрогнула.

— Надо принять, — запинаясь, повторяла Настя, стараясь торопливо набрать в ложку масла. — Вам надо принять...

Елена Евгеньевна задрожала бессильными губами и глотнула. Настя деловито отвернулась к подносу с лекарствами, чтобы закрыть баночку с маслом. Села на свой стул. Больная лежала с открытыми глазами и осмысленно глядела на неё.

— Ты кто? — спросила она хриплым голосом.

— Я студентка Петра Валерьевича, — смутилась она. — На кафедре повесили объявление, что нужна помощь... И я вызвалась...

Она старалась произносить эти слова равнодушно, чтобы больная не догадалась ни о чём. Но в то же время боялась, что дрожавший голос выдаст её с головой.

— А ты ничего, — заметила вдруг Елена Евгеньевна, дотрагиваясь рукой до Настинных волос, так что та испугалась ещё сильнее. — Я спросила врача, вырастут ли мои волосы, он говорит, что, может быть, вырастут...

Насте стало жутко, оттого что, говоря это, Елена Евгеньевна продолжала перебирать слабыми пальцами её волосы, прядь за прядью, как проверяют на оцупь качество ткани. Настя терпела, боясь пошевелиться, чтобы не показать, что ей неприятно. А когда Елена Евгеньевна опять положила руку на простыню, поднялась, как бы для того, чтобы переставить поднос с лекарствами на тумбу.

— А теперь в кого я превратилась, — выдохнула больная, — скорее, скорее бы стать такой, как раньше... Ты не видела мои старые фотографии? Нет, я тебе потом покажу...

Настя кивнула, стараясь не выдать своего страха.

— А хотя лучше не смотреть... Слушай, — заговорщицки понизила она голос, — ты случайно не куришь? Может, можно будет устроить покурить, хоть как-нибудь...

— У меня нет сигарет, — испуганно ответила Настя. — Вам нужен покой, вы лучше засыпайте...

— А, брось, — злобно усмехнулась та. — Тут такая скука, даже поговорить не с кем... — но прикрыла глаза и как будто задремала.

— Ну, хоть какую-нибудь... нет, да? Ну, тогда в следующий раз, хорошо? — переспрашивала, по-прежнему не открывая глаз. — Принесёшь парочку, мы откроем окно... Такая милая красивая девочка...

Она сделала ещё несколько глубоких вдохов и успокоилась. Заснула, подумала Настя и заметила, что дыхание Елены Евгеньевны, действительно, вы-

ровнялось. Настя расслабленно откинулась на спинку стула и снова осталась наедине с неведомым механизмом вентилятора. Только бы дотерпеть до прихода Петра Валерьевича, думала она, только бы никаких разговоров больше...

Но больная вдруг опять пробудилась и сильно сжала Настину руку своими длинными белыми пальцами.

— Ну, давай поговорим, — попросила капризно. — Ну побудь со мной, мне так одиноко здесь... Как тебя зовут?

Настя назвалась.

— Настя, Настя, — повторила Елена Евгеньевна, словно привыкая к её имени. — И что ты думаешь о Пете? Как он тебе кажется?

Настя удивилась не столько её острым словам, сколько своему неожиданному спокойствию.

— Я очень уважаю Петра Валерьевича, — сказала громко и почти что с вызовом. — Я чувствую к нему какое-то безумное благоговение...

— Ой, какая же ты хорошая девочка... — восторженно вскрикнула Елена Евгеньевна. — Давно не видела такой доброй наивной девочки!

Настя не могла понять, искренна ли эта женщина и искренна ли она сама с ней. Ей было жаль больную. Настя чувствовала, что не должна отвечать ей грубо, но внутри у неё всё горело. Она видела — эта женщина всё знает, неизвестно откуда, но знает...

— Ты не обращай на меня внимания, я очень эмоциональный человек, — продолжала Елена Евгеньевна, но уже без прошлого азарта. — Да, Петенька как раз создан, чтобы дурить головы таким девочкам. Он и меня когда-то так задурил... Но ты знай, он не может любить женщину, как мужчина любить... ему нужно, чтобы им восхищались, ему нужна такая девочка, как ты... чтобы смотреть ему в лицо и говорить — какой ты, какие у тебя умные мысли... а я так не могу...

Настя поспешно замотала головой, будто желая спорить с ней, что насколько не влюблена в Дубова и вообще случайно оказалась здесь, но больная не замечала её сопротивления и продолжала говорить, скорее даже для самой себя, чем для неё.

— А вообще не верь ему, Настя, это у него христианство с чашечкой чая... Представляешь, он мне сделал предложение, а через полчаса стал рассказывать, как любит своих студентов. А потом, как поженились, так сразу начались у него эти посты и воздержания, хе-хе... Ну скажи мне, какой мужчина будет воздерживаться, когда рядом с ним молодая жена? Он не мужчина, а столб. За этим столбом, конечно, спокойнее, он же почти каменный, но, знаешь, всё-таки хочется чего-то более живого, да? Хотя бы сделанного из кожи и мяса, да? — она страшно раскашлялась.

— Но я всё равно теперь Петеньку не отпущу, — добавила жестоко. — Мне теперь нужны силы, чтобы бороться с болезнью. А силы можно найти только где? Правильно, Настенька, в мужчине. Хотя бы в таком... Он мне постоянно говорит: ты должна покаяться, ты должна готовиться к другой жизни. А я ему отвечаю: нет, я умирать не собираюсь... Нет, зверёк ещё держится... — добавила она с отчаянной злостью и опять начала кашлять, содрогаясь всем телом.

— Вам, наверно, нельзя так много говорить... отдохайте, — растерянно шептала Настя, но та никак не могла остановиться.

Она кашляла всё сильнее, заваливаясь набок, отчаянно хватая руками простыню, спинку стула, рукав Настинной кофты. А потом перегнулась через край кровати и выплонула чёрный кровавый сгусток в большой эмалированный таз, стоявший рядом. И опять упала на подушку и горько засмеялась, глядя Насте в лицо. Настя же стояла, закусив губу. Руки у неё дрожали.

Больная неожиданно улыбнулась.

— Прости, если тебе неинтересно... — добавила, ласково потянувшись к Настинной руке. — И почему тебе может быть интересно... Но мне так хочется поговорить о нём. Вся жизнь мне так нравилось разговаривать о нём. Бывало, сажу с кем-нибудь и начну рассказывать, говорю о нём, как о последней скотине, а самой так приятно. А если этот кто-то ещё и начинает его защищать, так приятно вдвойне.

В её глазах Настя увидела слёзы и испугалась ещё сильнее.

— Знаешь, всё-таки хочется человека рядом, — тихо добавила Елена Евгеньевна. — Потому что зверёк боится, очень боится, Настенька...

Настя робко улыбнулась ей в ответ и присела на краешек кровати. Глаза большой загорелись. Настя подумала, что это в маленьких, почти уже высохших лужах, залитых грязью по краям, мелькнуло яркое полуденное солнышко. Ей было жаль Елену Евгеньевну, она ощущала какое-то отчаянное самопожертвование, так что скажи сейчас та — откажись от Петра Валерьевича навсегда, и Настя пообещала бы ей со всей искренностью и больше никогда-никогда уже не подумала бы о нём.

Ещё минуту они смотрели друг на друга, а потом одновременно засмеялись.

— Ну, хорошо, ну вот и хорошо, — закивала Елена Евгеньевна, довольная, что Настя, кажется, не держит на неё зла. — Вот и хорошо, моя добрая, милая девочка...

Они больше почти не разговаривали, но ощущали какую-то особенную приветливость друг к другу. Так что когда перед вторым приёмом масла в палату торопливо вошла пожилая соседка Дубова, им обоим стало неудобно от появления лишнего чужого человека.

— Ты студентка, да? — стараясь отдышаться, проговорила Мария Дмитриевна. — А я уж тут бегу, бегу... Пётр Валерьевич сказал, что у него пара, так я и засуетилась. Масло принимали, да? А, час назад, ну, хорошо, тогда сейчас...

Настя не чувствовала радости от её прихода. Ей было жаль, что они с Еленой Евгеньевной не договорили о чём-то важном. Но теперь уже нельзя было ничего сказать. Настя отошла к окну и стала смотреть, как ветер кружит опавшую листву по широкому двору больницы. Мария Дмитриевна тем временем приблизилась к больной и принялась осторожно поить её маслом. Елена Евгеньевна недовольно усмехалась и долго не хотела глотать.

— Ой, какая вы, Лена, непослушная, — приговаривала Мария Дмитриевна, а та отвечала презрительным взглядом. А потом, стоило Марии Дмитриевне отвернуться, весело подмигнула Насте. Настя неловко улыбнулась в ответ.

Несколько раз приходили медсёстры, но к другой пациентке, унесли капельницу. А однажды нужно было позвать врача, и Настя пошла по длинному больничному коридору мимо открытых дверей, из которых пахло хлоркой и раздавались то чьи-то разговоры, то стоны...

Дубов вернулся через несколько часов, неся огромную связку бананов. Он был возбуждён и разговорчив не по-обычному.

— У меня сегодня на спецкурсе был настоящий цирк, — заговорил он неестественно громко. — Это не тебе, Елена Евгеньевна, это другим женщинам, — добавил, кладя бананы на тумбочку. — Ну, что, как вы тут справлялись без меня? Всё в порядке? Так вот! Они же все сейчас в революционеры готовы податься, ходят на Болотную площадь. А я им говорю — вам надо не на площади ходить, а сидеть дома и готовиться к экзаменам. Потом окончить институт, найти работу, которую вы будете любить. И так послужить своей стране, а не драться с милицией. А они не согласны, у них ещё кровь в жилах кипит...

С ним в палату пришло радостное оживление. Мария Дмитриевна быстрее захопотала вокруг больной, а Елена Евгеньевна раскашлялась и чуть выше поднялась на подушках. Но Настя чувствовала, как вместе с тем исчезло что-то важное из больничного воздуха.

Дубов подсел к жене и потрогал лоб. Но долго смотреть на неё не мог, неуклюже поднялся и опять повернулся к Насте.

— Это начинается новая фаза в истории нашей страны, вам полезно будет знать, Анастасия, — весело посмотрел он на девушку, стоящую у окна. — Если уж вы собираетесь стать писателем, а тем более говорить о христианстве и монашестве. У вас в голове должна быть система! Я писал об этом, могу дать вам ссылку. После либерализма и вульгарного реализма наступит в мире фаза витализма, торжества релятивистских ценностей, эдако-

го постмодернизма. А после него уже — нигилизм разрушения. Вот и мы постепенно становимся свидетелями этого. А что после нигилизма разрушения, как вы считаете? Не задумывались над этим? Формирование нового человека, вот что!

Марья Дмитриевна одобрительно качала головой и молчала, как всегда, когда Пётр Валерьевич заговаривал о чём-нибудь для неё непонятном. Настя же по-прежнему стояла у окна и робко улыбалась. И только Елена Евгеньевна смотрела на профессора насмешливым грустным взглядом. Настя заметила этот взгляд, и ей отчего-то тоже стало грустно.

— Но я верю в будущую сильную и великую Россию, — добавил Дубов, уже тише и как-то особенно проникновенно. — Но только в православии, в близости к корням, к почве. В этом моя самая святая и дорогая надежда...

А потом будто смутился своей сентиментальности, резко прокашлялся и большими шагами прошёл в другой конец палаты.

Через несколько минут в палату вошла медсестра, и все обрадовались, что закончилось, наконец, натянутое молчание. Марья Дмитриевна засобиралась домой, потому что у неё были ещё дела.

Когда Дубов с Настей вышли из больницы, на улице уже стемнело. Настя всё ещё находилась под впечатлением прошедшего дня и думала о том, что произошло в больнице.

— Мы часто живём и даже не подозреваем, что кому-то может быть хуже, чем нам, — задумчиво произнесла она. — А здесь, в больнице, это ощущаешь явно. Я бы хотела прийти сюда ещё раз... помогать...

— Только если позволяет учёба, Настя, и творчество, — ответил ей Дубов. — Потому что для вас главное — это творчество. Посмотрите сами, распределите своё время и увидите.

— Да, да... — восторженно отвечала она.

Настя смотрела на Дубова, вспоминала те слова Елены Евгеньевны о “христианстве с чашечкой чая” и удивлялась, как же та могла сказать такое. Это было совершенно не про Петра Валерьевича, совсем наоборот, он был самым мужественным и верующим человеком из тех, кого Настя знала. И тогда она так сильно устыдилась своих сомнений, что ей неожиданно захотелось возместить свою вину перед ним, рассказать сейчас профессору что-то сокровенное, что она никогда никому не открыла бы. Внутреннее женское чувство подсказывало Насте, что это сокровенное понравилось бы ему, и на душе у неё вдруг стало невероятно весело.

— Знаете, я недавно подумала, что писатель не может не верить в Бога. Вот я сижу, пишу, но вижу, какой безжизненный получается текст. Но потом вдруг, как по мановению волшебной палочки, сюжет начинается сходитьсь, сочиняются невероятные вещи! Я поняла, что я свечка, которую нужно поджигать, потому что сама она не может дать огня, а огонь может дать только Бог...

Ей показалось, что это прозвучало даже слишком возвышенно, но Дубов добродушно засмеялся, тронутый её искренностью и наивностью.

— Думаю, вы правы, — ответил он, стараясь казаться серьёзным. — Знаете, я порой удивляюсь вам. У вас в голове нет стройной системы, вы почти не рассуждаете, но как-то интуитивно приходите к правильным выводам. Но не играйте с этим, Настя, в ваших словах я замечаю необычное любование собой. Будьте скромнее.

Она растерянно кивнула, но внутри ей стало нестерпимо обидно, что ему можно говорить о важных вещах, а ей нет. Будто всё, что скажет она, заранее обречено быть нелепыми словами маленькой девочки.

— Вы очень её любите? — спросила Настя неожиданно дерзко.

Дубов взглянул удивлённо, но не заметил странного состояния девушки, а заговорил медленно и сосредоточенно:

— Я отвечаю вам честно, Настя. Жизнь приучила меня ко всему относиться стойчески. Это было дано Богом, это надо принять.

Настя опять внимательно посмотрела на Дубова. Вот он стоял перед ней, негибамый человек со страшной волей, способный вынести любое горе.

Как же можно было сомневаться в нём, как можно было его не любить. Но вместе с тем от обиды ей уже казалось, что, может быть, Елена Евгеньевна в чём-то права...

— Что говорят врачи? Елена Евгеньевна скоро выйдет из больницы? — спросила она рассеянно, чтобы что-нибудь спросить.

— Елена Евгеньевна умрёт, у неё рак лёгких четвёртой степени, — ответил Дубов.

По дороге домой Настя думала о том, что её творчество не имеет смысла. Ни больной женщине, ни врачам, которые её лечили, зная, что она скоро умрёт, ни даже заботливой Марии Дмитриевне — никому не было дела до мелкого копошения, отгачивания предложений, в общем, всего того, что считалось среди писателей важным, благородным. Всё было лживо.

Но и в другом мире, мире Дубова и Бога, творчеству не было места. Там все были твёрдые, как скала, там необходимо было от кого-то зачем-то спастись, а для этого соблюдать заповеди, творить добро, но уж никак не писать. И даже слова Дубова о творчестве были какими-то искусственными. Она не могла принять его жестокой необходимости делать своё Дело, до смерти служить своему предназначению и больше ничему. И она не знала, как ей, слабой и нерешительной, жить в его мире.

С того дня Настя стала иногда приходить в больницу к Елене Евгеньевне. Сначала она ощущала вдохновенное самоотречение, будто ни тело, ни её жизнь ей уже не принадлежали. Каждое действие в больнице — позвать врача, принести подставку для капельницы, закапать масла в горло больной — казались ей жизненно важными. С Еленой Евгеньевной они больше не разговаривали о Дубове. Настя читала ей книги, а больная слушала, закрыв глаза, и изредка улыбалась.

Потом Елена Евгеньевна взяла номер Настиного телефона и стала звонить по ночам. Первые такие разговоры были для Насти откровением, ей казалось, она столько узнавала и даже начинала смотреть на жизнь как бы глазами Елены Евгеньевны. Но постепенно всё это стало таким тягостным для неё, что она не сразу брала трубку, а выдерживала полчаса, собиралась с силами и говорила Елене Евгеньевне, что просто не слышала звонка.

Иногда они оставались втроем с Дубовым. И тогда Елена Евгеньевна оживлялась.

— Вот, Петенька, моя новая любовь. Моя добрая светлая Настенька! — говорила она, раскачиваясь на кровати то в одну, то в другую сторону.

А Настя стояла рядом и кусала губу от смущения и непонятого стыда.

Елену Евгеньевну выписали — как говорил Пётр Валерьевич, она была уже безнадежна. Но через месяц ей стало ещё хуже, и Дубов опять договорился о диспансере. А потом раздался тот звонок, ранним утром в конце января. Звонила Мария Дмитриевна, сказала, что Елена Евгеньевна было плохо всю ночь и нужно сменить Петра Валерьевича хоть на несколько часов. Настя поехала в больницу. Фонари не горели. На улице у выхода из Баумановской почти не было людей. Переходя дорогу, Настя привычно взглянула налево, где сквозь снежное облако виднелся храм, и почему-то запомнила это мгновение.

Дубова она нашла в коридоре второго этажа на лавке возле поста медсестры.

— Нет, нет, зря Маша так волнуется за меня... Езжайте домой, Настя, я буду здесь, — сказал он, и никак невозможно было возражать его строгому уверенному тону. — Пойдёмте, я провожу вас до метро.

Настя только рассеянно закивала, жалея о своей мягкости.

Они вышли на крыльцо. Стояла мутная белая ночь. Дул отчаянный ветер. Они шли медленно, каждый погружившись в свои мысли. Где-то далеко то ли зазвонил колокол, то ли сильнее завывла вьюга.

— Знаете, Настя, я очень корю себя, — заговорил вдруг Дубов тихим глухим голосом, так что его почти не было слышно от ветра. — Дело в том, что Бог дал мне женщину, пусть неглубокую, со многими недостатками, но он мне её дал, и я был за неё в ответе. А я за полгода нашего знакомства

так и не смог привести её к осознанной вере. Нет, она не отрицала, но соглашалась как бы сверху, не пуская Бога внутрь. А я не смог объяснить ей, как жить правильно, я много уступал и, наконец, уступил в самом главном. Не знаю, как она провела эти десять лет без меня, может, стала лучше, а может, наоборот...

Он не надел шапку и нёс её в руках, Настя видела, какие сухие с редкой проседью у него были волосы. На волосы падал снег, и оттого Дубов выглядел почти как старик. Отзвуки колокольного звона ещё дрожали в воздухе.

— Но знаете, я очень благодарен Богу, что она так страдает перед смертью, — добавил он в конце. — И я не знаю, даст ли Он мне такую возможность. У меня нет плана на будущее, впереди всё темно...

Насте стало страшно. Она никак не могла понять, почему же он так спокойно говорит о смерти жены. Дубов шёл рядом, и на его суровом лице в тот момент она не видела ни боли, ни сожаления. А когда проходили мимо Елоховского собора, видневшегося вдаль, он медленно переложил шапку из одной руки в другую и перекрестился. Страшный человек, подумала Настя, страшная вера. Страшный Бог, который создал этот мир. Она испугалась, что Дубов вдруг буднично повернётся к ней и спросит что-нибудь про рассказ о монахе. Ей хотелось убежать от него, остаться одной. Не было уже никакого монаха, невозможно было писать в этом мире. Ещё она вдруг испугалась, что опять зазвонят в колокол, потому что этот звон так подходил трагичности момента, и казалось, если бы она стала описывать сейчас вот эту минуту своей жизни, обязательно вставила бы сюда этот дурацкий звон. Но колокол молчал. Только медленно прошёл рядом трамвай, слышались обрывки разговоров людей. Обыденный шум утреннего города.

Не глядя друг на друга, они попрощались у входа в метро.

Пока Дубов возвращался в больницу, ветер стал ещё сильнее. Снежные ошметки, как снаряды, попадали в громадную фигуру профессора, но он всё равно не сбавлял шаг, будто их не было вовсе. Его пальто вымокло насквозь. Он вошёл в приёмный покой и с силой принялся отряхиваться, так что хлопья снега разлетались, падали на пол, превращаясь в грязную воду. А потом поднялся на второй этаж и сел на ту же самую лавку, где провёл ночь до прихода Насти.

В больничном коридоре было тихо. Он чувствовал страшную усталость, переходящую в равнодушие — последние месяцы вымотали его совершенно. Он надеялся, что прогулка до метро взбодрит его, но теперь не мог даже пошевелиться. Дубов знал, что скоро всё кончится, он даже ждал этого конца, но ни за что не признался бы себе в этом. И пока этот конец не наступил, он уже не мог ни спать, ни делать ничего, а только напряжённо ждать.

Дубову захотелось выпить горячего чая, чтобы согреться. Он поднялся и прошёл в ординаторскую. Здесь, в диспансере, работал его хороший знакомый, так что Петру Валерьевичу разрешили по ночам пользоваться чайником. Дубов открыл тонкую дверцу больничного шкафчика, чтобы достать чашку и заварочный пакетик. На нижней полке блеснул позолоченный корешок его собственного Евангелия, которое он принёс сюда, чтобы читать Елене Евгеньевне. Он надеялся, что врачи будут давать его ещё кому-нибудь, но, кажется, кроме него, книгу отсюда никто не брал.

У Дубова не было сил сейчас читать, и потому он открыл наугад и скользнул глазами по нескольким строкам.

“Вот, Иуда, один из двенадцати, пришёл, и с ним множество народа с мечами и копьями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И тотчас подошёл к Иисусу, сказал: Радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришёл? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли Его...”

Дубов отложил книгу, налил в чашку кипяток и осторожно глотнул. Глаза у него слипались, он сел на стул возле шкафчика и опустил голову, подбородком упершись в грудь. Но смутное беспокойство не давало ему покоя. Дубов открыл глаза, поднялся, прошёл до двери ординаторской и вернулся

обратно. Неожиданно он понял, что внутри у него бьётся то самое могучее вдохновение, которое всегда предшествовало возникновению какой-нибудь важной мысли. Секунду поколебавшись, дрожащими руками он вытащил из кармана ручку и маленький потрёпанный блокнот.

“Самое страшное — то, что даже Бог не может перейти ту черту, связанную со свободой воли, которую Он дал человеку, доверяя ему, — записал поспешно. — Вот подходит предающий Иуда, и Христос говорит ему самые сильные слова, которые только могут быть сказаны в этот момент: “Друг, для чего ты пришёл?” Но Иуда не слышит и не понимает их. А ведь в каждый момент времени Бог говорит каждому из нас те самые сильные слова, но почему-то мы не воспринимаем их...”

Удовлетворённый, он закрыл блокнот и опять попытался заснуть, но беспокойство только усиливалось. “А если Иуда это я?” — вдруг подумал Дубов, и эта странная мысль отчего-то поразила его. Он попытался рассуждать, стараясь объяснить себе, что же это может означать. “Эта женщина была дана мне Богом, и я должен был привести её к Нему, — повторил то, что уже обдумал раньше и что сказал полчаса назад Насте, — да, я виноват... Она умрёт без причастия, как же страшно, что мы не слышим голос Бога, который зовёт нас к Себе...”

Но и это было не совсем то, будто в его рассуждениях всё ещё оставалась какая-то ошибка. “Я Иуда”, — подумал он опять, и сердце сжалось от тоски. Дубов снова раскрыл книгу, отчаянно пытаясь найти то самое место, словно это могло помочь ему разобраться, но страницы путались. “Всё во мне лживо, — пронеслось тогда в его голове, — нет ничего правдивого... всё ложь, внутри только ложь...”

Дубов вскочил, ему стало страшно. Глубокая чёрная пропасть собственной вины внезапно разверзлась перед ним. Ему захотелось бежать к ней, прижаться к её рукам, просить прощения, ещё даже не понимая за что. Мысли его смешались, он повторял что-то о счастье, о длинной жизни, радости, детях, и о том, что именно он всё исковеркал и во всём виноват...

Как пьяный, Дубов вышел в коридор и двинулся к её палате, но в это время ему навстречу вышел человек в белом халате.

— Вы Пётр Валерьевич? — спросил он спокойно. — Ваша жена умерла... крепитесь...

Дубов почувствовал, что задыхается, будто ему ударили в спину. Он схватился за голову, шагнул вперёд, не разбирая дороги, ввалился к ней в палату. Не успел, не успел, это конец, билось в нём.

Елена Евгеньевна лежала на кровати, такая же бледная и худая. Но чем больше Дубов вглядывался в её неподвижное лицо, тем более светлым и одухотворённым казалось ему оно. Это было лицо, не искажённое судорогами, не замершее в ужасе при виде бесов, которые должны были тащить её в ад. Необъяснимое умиротворение и едва уловимое дыхание вечности отпечатались на нём.

Дубов стоял, поражённый, и не мог отвести от него взгляд.

“У него сердце, сейчас принесу корвалол”, — услышал он тонкий женский голосок где-то рядом. Его вывели из палаты и посадили на лавку.

А потом рядом скрипнула дверь, и уже через минуту в коридор выкатили носилки, накрытые белой простыней.

4

Елену Евгеньевну хоронили в сильный мороз. На похоронах было много людей, но все из института и никого из родственников. Долго шли по тропинкам мимо могил, останавливаясь перед каждым поворотом. Сначала пытались петь, но вскоре охрипли и перестали. Под ногами пересекались замёрзшие следы машин. Помню, как долго опускали вниз гроб и как сматывали длинные грязные полотенца.

Но самое страшное началось, когда стали говорить. Все говорили, а ты стоял неподвижно в распахнутом пальто. И при виде тебя все как будто тоже боялись двигаться. Наконец стали бросать вниз по куску земли. Я зачем-то

бросила два, может, чтобы извиниться перед Еленой Евгеньевной. Удары земляных комков о дерево были такими громкими, что мне показалось, я стою под мостом, а сверху проезжает тяжёлый поезд.

Я чувствовала, что всем вокруг неловко и хочется разойтись, но отчего-то, как нарочно, никто не уходил, и опять начали говорить. Помню, было очень холодно. Я куталась в тонкую куртку и не могла согреться. Для меня уже не существовало ничего: ни чувства вины, ни переживаний за тебя, один только жуткий холод. Тогда я пошла к выходу. Я хотела сама добраться до метро, но у ворот кладбища стоял автобус, на котором нас сюда привезли, и я малодушно залезла в него. До сих пор жалею о том, что ушла раньше, возможно, тебе нужна была моя помощь или хотя бы просто знать, что я рядом.

Потом я увидела, как ты выходишь из ворот кладбища, а рядом — Марья Дмитриевна. Помню, в тот момент так сильно разозлилась, не знаю даже на кого больше, на неё или на себя, что ей хватило сил выстоять с тобой на этом кладбище, а у меня вот нет. Ты поехал в машине с незнакомыми людьми, так что мы больше не увиделись. А я пришла домой, упала на кровать и пролежала так до утра...

Все следующие дни были очень печальными. Часто плакала, столько мыслей самых разных, что стыдно даже в дневнике о них писать. Я не любила ее. Не ненавидела, но и не любила. Представляю, что мы встретимся после смерти, там, в другом мире, она подойдёт ко мне, а я даже не знаю, что сказать.

За эти три месяца я всего шесть раз приходила в больницу и даже в минуты наших самых ярких и интересных разговоров чувствовала какую-то враждебность. Я не могла быть искренней с ней до конца. Помню, читала вслух “Записки Пиквикского клуба”, и она иногда так сильно смеялась, что я про себя называла этот смех демоническим. А в последний раз, когда она попросила меня налить ей воду, а потом сказала, что она слишком горячая, а когда я охладила — что слишком холодная, — я готова была накричать на неё. Сейчас всё это так стыдно вспоминать.

Помню, в тот же день, когда я собралась уходить, хотела позвать медсестру, чтобы сделать ей обезболивающий укол, а она стала уговаривать, чтобы я этого не делала. Как будто вместе с болью выходит из меня всё плохое, сказала она, и это было так удивительно и ужасно.

Опять плачу. Страшно жить, а потом умереть. И всё, точка. Конец. Опикиваю свою будущую смерть.

Я городской парниковый фрукт. У меня не было таких скорбей, чтобы перевернули всё моё существо, я не знала вообще никаких глубоких чувств. Помню, там, в больнице, мы как-то разговорились с Марией Дмитриевной. Она рассказала мне, как вы жили с Еленой Евгеньевной, когда были женами. По её словам, Елена Евгеньевна очень виновата перед тобой, но мне показалось, что Мария Дмитриевна смотрит на всё это как бы с одной стороны. А в конце она высказала такую мысль. В настоящей любви, сказал она, нет бури в стакане воды, а есть только тихое глубокое дыхание океана. Записала эту мысль на обороте рецепта, а потом подумала, что я со всей своей литературой не стою одной мысли этой простой женщины. И всё моё писательство показалось мне таким мелким.

На первую лекцию после зимних каникул ты опять опоздал. Мы не виделись уже две недели с самых похорон, и я думала, что ты изменился. Но ты выглядел обычно и, кажется, только чуть сильнее поседел. У нас все знали, что произошло, и потому всю лекцию сидели смирно. А я пыталась поймать твой взгляд, но ты был по-обычному строг и монотонным голосом излагал материал.

Я не подошла к тебе и после лекции, почему-то мне казалось, что своим присутствием я могу осквернить память Елены Евгеньевны. Мне казалось, должно пройти время, чтобы всё стало прежним, хотя сейчас я понимаю, что прежним быть уже ничего не могло. Всё повторилось и в следующий раз, и снова, и снова... Как так получилось, что мы перестали общаться, сама не понимаю. Мне всё мечталось, что вот сегодня, вот после этой лекции,

но каждый раз что-то не складывалось, не хватало решимости, мешали другие ребята.

А потом ты как-то остановил меня в коридоре и коротко спросил, как у меня дела. Я не знала, что ответить тебе. Всё по-разному: то душа болит, и, кажется, нет никакой надежды, а то становится так радостно и легко, что не знаешь, правда ли это или только сон. Но я только пожала плечами.

Ты спросил, пишу ли я. Да, почти сразу после смерти Елены Евгеньевны я опять начала писать. Это произошло случайно, как-то само собой. Вдруг пришло время, спокойно открыла тетрадь и написала целый эпизод. Мой монах живёт своей жизнью рядом со мной. А иногда мне кажется, что я только камера, наблюдающая за ним, а он, настоящий, существует в этом мире, ходит между нами, страдает и радуется вместо меня. Но иногда мне кажется, что он слишком слаб и похож на меня. Он так сильно желает двигаться и так беспомощен перед настоящей жизнью. И тогда я разом зачёркиваю несколько страниц, возвращаясь к первоначальному суровому и решительному герою. Герою, который напоминает мне тебя...

Недавно стояли с Никитой Зверевым у аудитории. Никита много шутил, пытаюсь меня развеселить. Наверное, я произвожу уж слишком жалкое впечатление, потому что он сильно старался. Помню, засмеялась и вдруг увидела тебя. Ты был хмурый, и я испугалась твоего странного свирепого взгляда.

— Зверев, зайдите ко мне, пожалуйста, у вас неудовлетворительные результаты за последнюю контрольную, — резко сказал ты, так что мне даже показалось на миг такое, о чём и заговорить страшно. Нет, я ошиблась, этого быть не могло, но всё равно продумала об этом целый день. А на утро решилась поговорить с тобой.

Помнишь, как вошла в твою маленькую комнатку на кафедре? Ты сидел за столом, перебирая бумаги.

— Здравствуйте, Анастасия, — выговорил ты устало, и я поняла, что тебе не до меня, и опять стало обидно до слёз.

Кажется, я сказала что-то нелепое и обидное, потому что ты посмотрел на меня с грустью.

— Нет, Настя, вы не правы, — ответил ты тихо. — Я вас очень уважаю и ценю... Более того, — ты неожиданно остановился, словно не мог подобрать правильные слова, — я не буду вас обманывать. Вы видите меня насквозь, я весь перед вами, как на ладони. Не хочу даже хитрить, переубеждать вас с вашим чутким сердцем... Но сам я, Настя, очень немудрый человек, я плохо понимаю и принимаю всякое изменение в окружающем мире. Поэтому мне сложно видеть своё предназначение. Только не спрашивайте больше никаких подробностей. Лучше просто помолитесь за меня...

У меня перехватило дыхание, уж не знаю, сколько времени я глядела на тебя сумасшедшими глазами, а потом выбежала из комнаты.

Я ехала домой, думая, что сейчас умру от волнения. У меня в голове всё смешалось, я ничего не видела и не понимала, и только слышала твой слабый голос. Но не тот, которым ты так равнодушно говорил о смерти жены, грубый и мужественный, вызывавший у меня раньше восхищение, а этот глубокий и грустный, от которого до боли щемило сердце. Как редко приходилось мне слышать его таким, и тем более дорог он был для меня. Помолитесь за меня, сказал ты.

Когда человек попадает в беду, сострадание очищает сердце любящих его людей. Я вернулась в общежитие, Марины не было в комнате, и я обрадовалась, что смогу побыть одна. Помню, как торопливо подошла к маленькой иконе на полке в углу, той самой, которую ты подарил мне в конце прошлого учебного года. Я хотела помолиться, чтобы исполнить твою просьбу. Этот момент неожиданно показался мне величественным и трагичным. Ну что за ерунда, перебила я себя, у меня всегда такие вот нелепые мысли, это всё так глупо. Расстроилась. Когда нет надежды на взаимность, тогда какая польза рисоваться, ругала я себя. Тогда остаётся только человек, который дорог, человек, который в беде, и должна проснуться искренняя любовь. Воодушевлённая, опять встала перед иконой. Постаралась подумать о тебе, как о постороннем несчастном человеке. Но мне всё равно как-то стыдно было молиться, я никак не могла полностью открыться лицу на иконе.

В этот момент я вдруг вспомнила, что у меня нет денег на весь следующий месяц — знаешь, я ведь всё-таки послала тебе те десять тысяч на счёт, который вывесили на стенде рядом с кафедрой. И теперь мне стало так легко от ощущения своей совершенной нищеты, и будто смутная надежда появилась. Я легла на кровать, стараясь представить своё будущее, но не могла зацепиться ни за что, кроме этой надежды. Пусть хоть это будет испытанием для меня, повторяла я себе, настоящим, имеющим цель и смысл.

Следующие месяцы были странными. Я всё думала о чём-то, но даже не могу сказать сейчас точно о чём. Конечно, я не смогла жить совсем без денег, пришлось занимать у Марины. Но я решила тратить совсем немного, старалась жить на пятьдесят рублей в день, ходила пешком до метро. Но помню, где-то в конце апреля завалила контрольную по философии и так расстроилась, что купила на последние деньги коробку дорогих конфет. Как назло, они оказались просроченными и твёрдыми, и я целый вечер провела в унынии. Мне казалось, это Бог наказывает меня за слабость. Но наутро было такое ясное небо, что грустить больше не хотелось. Сейчас удивляюсь, как остро я воспринимала тогда любую мелочь, впрочем, это моё обычное качество. И, может, это даже неплохо, например, тебе бы, наверное, это понравилось, и ты бы даже засмеялся моей наивности...

На Пасху я пошла на ночную службу в церковь и, представляешь, увидела там тебя. Ты стоял впереди, и мне так удивительно было, что ты рядом. Я смотрела на твою спину и на сухие с проседью волосы. Впервые я молилась вместе с тобой. Значит, Бог мне доверяет, раз дал такую радость и такое искушение одновременно, значит, верит, что я справлюсь... Не знаю, заметил ли ты меня, я старалась, чтобы нет. А потом возвращалась домой, и мне казалось, что радость въелась в мою кожу, просочилась в мою кровь. И теперь эту радость уже никто не отнимет у меня.

Кажется, я выросла. Я уже не подросток со своими ужимками и прыжками. Я девушка, да, девушка, которая пусть и ходит в джинсах, но уже не притворяется. И очень мечтает о платье.

Теперь я знаю, мне достаточно просто быть собой. Быть не кем-то, а собой. Спокойно и глубоко дышать. Не притворяться. Говорить своим голосом, высказывать свои мысли, выражать свои эмоции. Не рисоваться. Не подозревать, не бояться. Идти, распрямив плечи. Мне еще придется этому научиться, но уроки уже начались. И как приятно мне. Как спокойно. Как радостно дышать. Как радостно разговаривать с любимым человеком, не стесняясь его. Как радостно ощущать присутствие Бога рядом.

Семестр заканчивается, а что потом? Опять лето, осень, а там новый предмет, который ты будешь вести или уже не будешь. Не знаю, что и думать, не знаю, правильно ли то, что я чувствую. Надеюсь, Бог мне подскажет... Как там говорила Мария Дмитриевна? В любви нет бури в стакане воды. А есть только тихое глубокое дыхание океана. Как же я хочу этого тихого глубокого дыхания, только где оно?

Но оставим Настю и вернёмся к герою нашей повести... В пустой квартире Дубова было прохладно. Профессор ещё с утра настежь открыл окна и теперь наслаждался тем, как ходит по просторным комнатам свежий, уже летний воздух. Весь вечер он был занят сборами. В своей комнате он не оставял ничего: письменный стол отдал Марии Дмитриевне, а книги упаковал в ровные большие стопки и ещё на прошлой неделе унёс в библиотеку института. В комнате жены оставил только мебель, а её одежду и обувь заботливо сложил на дальнюю полку в кладовке.

А потом он сидел на табуретке на кухне и чувствовал, как спокойно было у него внутри. Ему не нужно было сейчас ни к чему стремиться, не нужно было больше писать. И оттого, может быть, впервые за много лет он ощущал настоящую жизнь, которая медленно течёт сквозь него. За окном совсем стемнело, но вдалеке ярким светом горел фонарь, и профессору было приятно, что в крошечной темноте есть этот свет.

Он поднялся, опять принялся собираться. Просматривая накопившиеся за последние годы черновики, подолгу сидел над обрывками бумаги и улы-

бался. “Любовь в особом смысле есть взаимное чувство между мужчиной и женщиной, состоящими в браке, вытекающее из любви в обобщённом смысле и выражающееся в стремлении к слиянию двух людей в одно целое”, — прочитал он на одном из листов. С грустью покачал головой. Да, он по-прежнему видел, что есть нестыковка между абсолютной истинностью сформулированной мысли и тем, что было дано ему жизнью. Но теперь он мог жить с этим противоречием, теперь оно уже не казалось ему непреодолимым, а в груди он слышал только отзвук прошлой боли.

В этом противоречии была тайна, которую он не мог и больше не пытался разгадать. Объяснение выходило даже за рамки очевидного признания — я виноват. Конечно, он знал, что виноват, что нет ничего чудовищнее его самого, его чёрстного сердца, но это было ещё не всё. Было что-то важнее, тот самый скрытый план — какая-то закономерная необходимость пронизывала всю его жизнь. Эту необходимость нельзя было понять целиком, её можно было только принять с благодарностью и радостно отдаться ей.

А когда наутро он шёл по коридорам института, из окон бил яркий свет. У двери аудитории профессор задержался и немного постоял, а потом медленно поднялся к доске. Студенты сидели на местах, готовясь к предстоящему зачёту. Читали жадно, надеясь ещё что-то выучить за последние минуты. Дубов довольно усмехнулся про себя.

— Сегодня я должен проставить вам оценки за курс стилистики, — проговорил он. — Я обещал устный экзамен по билетам, но решил изменить план. Оценки я проставлю по результатам последней обзорной контрольной работы, а те, кто хочет повысить свой балл, могут подойти позже для устной беседы.

Аудитория выдохнула, кто-то захлопал.

— Не надо реагировать так бурно, — прервал он радость студентов, — иначе я могу подумать, что вы не готовились к устному ответу. Ну, да ладно, оставим шутки... Сегодня у нас с вами последняя встреча, и потому я хотел бы сказать вам что-нибудь такое, что вы запомнили бы на всю жизнь.

Он ещё раз оглядел всех. Ему хотелось сказать им нечто важное о связи литературы и жизни, о таинственном предназначении литературы, но горло его будто заковали. И невозможным казалось сейчас говорить эти правдивые и выстраданные слова.

— Я смотрю на вас сейчас, — начал Дубов машинально. — Мне радостно видеть таких молодых горячих ребят, я очень привязался к вам за последние два года. Но всё-таки мне больно за вас... как за детей, которые делают ещё столько ошибок...

Он остановился, не зная, как же выразить им то, что было у него на сердце. Заметил, что Настя Шишкина сидит в последнем ряду, но всё же не прячется от него за колонной, как обычно. Улыбнулся. Стал говорить твёрже, будто почувствовал опору.

— Многие из вас сейчас похожи на меня в молодости, они хотят изменить мир или хотя бы жизнь своей страны. Но за этими благородными порывами часто можно не заметить главного. Борьба оправдана, только если она пронизана любовью. Сильный духом без любви превращается в чудовище. Запомните, важен каждый человек, который находится в настоящий момент рядом с вами, а вовсе не лозунги и не мёртвые слова на бумаге...

Он остановился, подумал ещё немного, а потом махнул рукой. На один миг стало тихо, так что было слышно, как кто-то перелистывал страницу. Но уже в следующую секунду раздались аплодисменты — студенты вставали и хлопали, теперь уже долго и громко, пока смущённый Дубов не успокоил их сам.

— Ну, всё, хватит, хватит, — поспешно произнёс он. — Тут не театр, хотя вам этого, наверное, и хотелось бы! Подходите с зачётками...

Перед Дубовым потянулись лица, кого-то он хорошо знал, кто-то так и остался для него загадкой. Но профессор старался каждому взглянуть в глаза и каждому улыбнуться. Подошла Катя Строганова, вручила профессору огромный букет цветов от всего курса. Это было приятно. За ней подошёл Кирилл Вязочкин, рассудительный и не признающий никаких авторите-

тов. Потом легкомысленная, но жизнерадостная Марина Деникина. Прямой и честный, хоть и нерадивый в учёбе Никита Зверев...

Студентов оставалось мало. Дубов начал проставлять оценки быстрее. Готовился к важному мгновению.

Милая, добрая Настя, она подошла одной из последних, отдала стопку напечатанных страниц, законченный рассказ. Профессор отложил ведомость в сторону. Я посмотрю, вышлю вам рецензию. Потом сказал приготовленные слова о том, что она была самым светлым человеком за время его работы в институте. Она взяла зачётку, вышла.

Профессор снял очки и долго ещё держал их за дужку, глядя перед собой, морща лоб, проводя ладонью по усталым глазам...

А Настя бежала по лестнице мимо зеркал, мимо расписания. И только в пустынном институтском дворе остановилась и вдруг почувствовала безвозвратно ушедшее время, будто текущее сквозь неё. Всё осталось позади, теперь она не будет даже слышать его отдалённый голос за дверью аудитории. Впереди летние каникулы и вся жизнь, долгая, невероятно долгая. Ей казалось, что она ещё видит и бледное лицо Елены Евгеньевны, и Дубова, стоявшего у могилы в распахнутом пальто, по-прежнему чувствует и жуткий мороз на кладбище. Но всё уже закончилось.

Ей хотелось вернуться, вбежать обратно в корпус, подняться по лестнице, но так невозможно было представить, что же она скажет ему. Настя села на скамейку и заплакала.

ЭПИЛОГ

Лето Настя провела в родном городе. Это было тихое место со старыми районами, низкими домами, уютными двориками, мальвами, потрескавшимся асфальтом на дорогах. Весь август стояла пасмурная погода. Тёмные тени ходили по земле, вечера были тревожные. В один из таких вечеров Настя вернулась домой после прогулки по городскому парку и обнаружила на столе большой конверт, пришедший по почте. Осторожно открыла и нашла там рукопись своего рассказа, исписанную на полях знакомым ровным почерком, и письмо. Но она не могла читать письмо дома, ей казалось, что родители и сестра смотрят на неё любопытными взглядами, и она бросилась на улицу.

Недавно закончился сильный ливень, и в усталых спокойных лужах отражалось небо. В соседнем дворе Настя нашла маленькую беседку, вступила под крышу и села на промокшие перила. Ей вдруг показалось, будто она уже заранее знала, что письмо придёт, и даже знала, что внутри.

“Милая Настя, — писал Дубов, и её сердце содрогнулось от нежности. — Начинаю это письмо и представляю себя Онегиным, пишущим Татьяне. Аналогия, конечно, не полная, но всё-таки. Рад, что вы подарили мне эти моменты, я и не думал в сорок лет оказаться героем пушкинского романа. Впрочем, шучу, вы это знаете. Мне кажется, я даже вижу вашу улыбку.

Коротко расскажу о себе. Ещё весной решил отправиться на послушание в Свято-Введенский монастырь близ Козельска, о котором рассказывал вам как-то. В конце июня решился, даже собрал вещи. Но наместник монастыря, выслушав меня, сказал, что я дурак и мне нужно оставаться в миру. Что на таком, как я, ножницы сломаются. Так я и не стал монахом! Впрочем, я решил всё-таки оставить преподавание в институте хотя бы на год. Буду писать учебник по русской стилистике. Давно уже хотел заняться этим. Мой знакомый из редакции журнала обещал помочь с изданием, и если даже мало смыслящий в литературе журналист признаёт, что дело это полезное, значит, правда нужно заняться.

Пока был в монастыре, много передумал обо всём, что произошло со мной за последние годы. Знаете, это в молодости кажется, что стоит лишь раскаяться, и жизнь начнётся заново, будто никаких грехов и ошибок не было вовсе. Но теперь, в сорок лет, понимаешь, что это не так. Да, конечно, Бог прощает грехи, если раскаяние искренне, но ведь Он не возвращает время назад. И всё, что ты совершил, и поломанная жизнь человека, которого

ты любил, а главное — твоё чудовищное чёрствое сердце — всё это остаётся с тобой. И ничего уже не исправить, сколько ни бей себя в грудь. Что толку знать о том, что ты не имел любви, что нужно было жить иначе, если ничего не начать сначала...

Что же меня спасает в такие минуты, знаете? Как ни странно, ваши слова, которые вы обронили как-то невзначай. Помните, после одной из лекций вы признались мне, что всю жизнь ждёте чуда. Я обдумал эту мысль — конечно, вы правы. Только главное чудо в жизни человека — промысел Божий о нём. Это не те тайны и чудеса, которые открывались великим подвижникам, нет, но это ясное понимание, что ничто в мире не случайно и всё будет так, как нужно. Так что, если желаете чего-то, — молитесь, и, будь это в воле Божьей, обязательно произойдёт...”

Настя закончила читать, отложила конверт. Она знала, о чём ей хочется кричать на весь город, о чём хочется молиться страстно, и, как никогда, её охватила отчаянная уверенность, что нет на свете ничего невозможного. Темнело, мир густел. Повсюду разлилось пронзительное ощущение страдания и Бога. И тогда Насте показалось, что она только песчинка в огромном мире, но вместе с тем и эта песчинка не забыта и не потеряна. Как будто кто-то неведомый думал о ней, любил её и вёл к тому, чего она и сама ещё лишь смутно чувствовала.